

ИЗДАТЕЛЬСТВО

НЕД



В. ВЕРЕСАЕВ

В ДВУХ ПЛАНАХ

СТАТЬИ О ПУШКИНЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«НЕДРА»

Москва — 1929

lib.pushkinskiydom.ru

**ОБЛОЖКА РАБОТЫ ХУДОЖНИКА
А. ТОЛОКОННИКОВА.**

Главлит № А. 36.321. Зак. № 1740. Тираж 4.000

«Мосполиграф» 14-я типография Варгунихина гора, 8

lib.pushkinskijdom.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я не исследователь и не критик по специальности. Если я брался за какую-нибудь исследовательскую или критическую тему, то потому, что к теме этой меня приводила общая линия моих исканий. Так было относительно Льва Толстого и Достоевского, Гомера и греческих трагиков, Ницше и древне-эллинской религии. Эта же линия привела меня к Пушкину. В нем я думал найти самого высшего, лучезарно-просветленного носителя „живой жизни“, подлиннейшее увенчание редкой у человека способности претворять в своем сознании жизнь в красоту и радость.

В процессе моей работы над Пушкиным я убедился, что мой подход к нему был совершенно неправилен, что я в нем не найду того, чего искал. Что я в нем нашел, об этом расскажет предлагаемая книга.

Москва. 26 февр. 1929 г.

К психологии Пушкинского творчества

(В связи с вопросом о датировке элегии на смерть Амалии Ризнич)

В 1823—1824 годах, в Одессе, Пушкин сильно увлекся эксцентрической красавицей-итальянкой Амалией Ризнич, женою одесского негоцианта. Весною 1824 года она уехала за границу, бросила мужа для любовника и в начале 1825 года умерла в Италии, покинутая любовником,—как рассказывали,—в нищете.

Пушкин написал на ее смерть элегию:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала..
Увяла, наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой,
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Элегия была напечатана в „Северных цветах“ Дельвига на 1828 год и затем при жизни Пушкина была перепечатана во второй части собрания его стихотворений в 1829 г. Как в этих изданиях, так и в посмертном, элегия датирована 1825 годом.

П. В. Анненков, готовя свое известное издание сочинений Пушкина, нашел в его бумагах подлинник элегии. *Над* элегией стояло: „29 июля 1826“, а *под* нею—следующие две строки:

Усл. о см. 25.

У. о с. Р. П. М. К. Б. 24.

То-есть: «Услышал о смерти (Ризнич)—25. Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева—24“. Смысл второй цифры бесспорен: декабристы были казнены 13 июля 1826 года, и 24, очевидно, значит: 24 июля 1826 года.

На основании этих помет Анненков склонен был отнести элегию к 1826 году, хотя в своем издании поместил ее все-таки под 1825 годом. Последующие издания, большею частью, помещали ее под 1826 г.

Нужно заметить, что упоминаемый подлинник потерялся у Анненкова, и позднейшие исследователи не имели возможности пользоваться им. Только в 1897 г. Д. И. Сапожников нашел в сарае анненковской усадьбы, в Симбирской губернии, связку пушкинских рукописей, среди которых оказался подлинник элегии. Он подробно (хотя и не совсем точно¹⁾ описал свою находку²⁾ В настоящее время подлинник хранится в рукописном отделении Румянцевского музея в Москве.

¹⁾ Под элегией, кроме двух вышеуказанных помет, Сапожников повторяет еще верхнюю помету—„29 июля 1826“. Этой пометы в н и з у в подлинной рукописи нет.

²⁾ Д. И. Сапожников. Вновь найденные рукописи А. С. Пушкина, Симбирск. 1899.

И вот, как раз с того времени, когда исследователи получили возможность видеть непосредственный подлинник элегии, в вопросе о ее датировке происходит какой-то странный сдвиг, на основаниях, поражающих своею бездоказательностью. Во втором издании „Трудов и дней Пушкина“ Н. О. Лернер пишет: „к 1825 году относится элегия „Под небом голубым“. Пьеса эта печатается обыкновенно под 1826 г., но Ефремов в своих примечаниях (в суворинском издании 1902—1905 г. г.) сослался на самого Пушкина, напечатавшего ее под 1825 годом, и на автограф, в котором помета, принимаемая со времен Анненкова за дату стихотворения, относится вовсе не к нему“. Смотрим у Ефремова: „С издания Анненкова стихотворение *неправильно* начало печататься под 1826 годом, потому что он нашел при стихотворении помету „29 июля 1826“ и кроме того помету о времени смерти декабристов. Когда теперь отыскивали подлинный автограф, то *оказалось*, что дата не составляет пометы стихов, а приписана *сверху* их как, вероятно, приписана в то же время и заметка *внизу* о смерти декабристов“¹⁾.

Каким образом это „оказалось“, — неизвестно. Несмотря на тщательные розыски, нам не удалось найти, где и когда это оказалось. Да и Лернер ссылается только на Ефремова, Ефремов ни на кого не ссылается. Остается думать, что собственный его анализ автографа привел Ефремова к такому выводу. Но и следов этого анализа у Ефремова нет; одно только „оказалось“, которому мы должны верить на слово. Между тем, бездоказательное это „оказалось“ ложится в основу всех дальнейших рассуждений о времени написания элегии.

¹⁾ Ефремов, VIII, стр. 262.

В Академическом издании сочинений Пушкина П. О. Морозов, сообщив об анненковской датировке элегии, продолжает: „между тем элегия написана несомненно на смерть Амалии Ризнич, скончавшейся не в 1826 году, а в 1825; в этом же году, конечно, Пушкин узнал о смерти Ризнич, вероятнее всего—от В. И. Туманского, написавшего на ее смерть стихотворение, помеченное 5 июля 1825 г. *Таким образом*, дата, поставленная над стихотворением Пушкина, очевидно, к нему не относится; Пушкин вообще не имел обыкновения начинать свои черновые стихи указанием на день их сочинения, а делал это указание уже после того, как стихи были написаны. Что касается помет *под* стихотворением, то и они написаны позже. Поэт, видимо, не раз возвращался к этой четвертушке серой бумаги, на которой была набросана в первоначальном своем виде элегия: на оборотной, чистой, стороне листа он записал карандашом перечень своих драматических произведений, из которых одни были написаны в 1830 году, а другие остались совсем ненаписанными“. ¹⁾

В. Я. Брюсов помету *над* стихотворением также считает не относящуюся к нему. „Стихи прежде относили к 1826 году,—пишет он,—но сам Пушкин печатал их под 1825 годом, и Ам. Ризнич умерла в 1825 году“. ²⁾ На основании приведенных соображений все новейшие издания сочинений Пушкина, — Суворинское, Академическое, Венгеровское, Брюсовское, Томашевского,—относят элегию к 1825 году.

Рассмотрим основания, которыми они при этом руководствуются. Первое и главнейшее: Амалия Ризнич

¹⁾ Акад. изд., IV, 73.

²⁾ Полн. собр. соч. Пушкина, Гос. Изд., 1920 г., I, 233.

умерла в 1825 году,— „таким образом“, „очевидно“, как говорит Морозов, и сама элегия написана в 1825 году. Откуда же это очевидно?

Психология пушкинского творчества исследована еще поразительно мало. Совершенно не рассмотрен, между прочим, и такой вопрос: являлась ли лирика Пушкина непосредственным во времени отражением впечатлений жизни, или,— иногда, по крайней мере,— впечатления эти долго лежали в душе Пушкина как бы похороненными, и лишь много позже, как будто без всякого внешнего повода, вдруг давали ростки и распускались прекрасными поэтическими цветами? Все охотно повторяют известные признания Пушкина в „Евгении Онегине“, что он, „любя, был глуп и нем“, что в его душе раньше должен утихнуть всякий след бури, непосредственное жизненное переживание должно предварительно перегореть, превратиться в пепел,— „погасший пепел уж не вспыхнет,— тогда-то я начну писать“... И все-таки не только Морозов, но и Валерий Брюсов,—сам крупный поэт, притом давно и любовно изучающий как раз процессы пушкинского творчества,— без запинки приводят такой ничего не говорящий довод: Ризнич умерла в 1825 году,—значит, и стихотворение написано в 1825 году.

В умах у нас прочно сидит глубоко укоренившееся вульгарное представление о некоем совершенно определенном процессе творчества лирического поэта: лишь то его произведение художественно ценно и искренно, которое отображает его *непосредственное* переживание и написано под *непосредственным* впечатлением. Что уж это за поэт, который способен, напр., воспевать вьюгу в солнечный и теплый сентябрьский день или отзывать элегией на смерть любимой женщины через год после того, как услышал об ее смерти?

Вот, напр., отрывок из рассуждений одного из учейших и умнейших современных пушкинистов,— М. О. Гершензона,— в недавней его книге „Мудрость Пушкина“: „Стихотворение „Бесы“ написано в начале сентября, когда нет никаких метелей, ни снега, когда вообще в помине не было той реальной обстановки, которая изображена в этом стихотворении. Пушкин никогда не выдумывал фактов, когда изображал их автобиографически; напротив, в этом отношении он был правдив и даже точен до иоты. Он был бы неспособен в солнечный и теплый день ранней осени, лежа на канапе, выводить пером такие строки:

Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна...

„Уж одно это соображение об элементарной честности (!) поэта должно было насторожить критиков и читателей... Ясно, что в „Бесах“ Пушкин вовсе не хотел изобразить зимнюю поездку и вьюгу, и настроение путников, как простодушно думают критика и публика“ (130—131 стр.).

М. О. Гершензон усматривает в пьесе глубокую символику, какую,— для нас не важно. Но характерно это своеобразное понимание „честности“ художника, его правдивости. Пушкин был, бесспорно, художественно честен, но отнюдь не в автобиографическом плане. Вера в автобиографическую точность его поэтических показаний представляет один из самых странных предрассудков нынешних исследователей. И, во всяком случае, никак уж нельзя утверждать а priori, что Пушкин обязательно творил под непосредственным впечатлением жизни, что только зимою он мог писать о ме-

тели, и что только под живым впечатлением смерти любимой женщины мог отозваться на эту смерть элегией. Если с такою меркою мы будем подходить к Пушкину, то рискуем на каждом шагу делать грубейшие ошибки.

Возвращаемся к элегии. Итак, перед нами подлинник, и сверху, и снизу облепленный всякого рода пометами. Конечно, легче всего сразу сказать: „эти пометы к стихотворению не относятся“ — и на этом успокоиться. Но, может быть, все они связаны друг с другом крепчайшею, хотя на первый взгляд и незаметною связью?

Начнем с первой пометы под стихотворением: „Усл. о см. 25.“ Новейшие редакторы (Морозов, Брюсов) читают эту помету так: „Услышал о смерти (Ризнич) в 1825 году“. Примем это чтение и посмотрим, что получается. Ризнич, как нам известно, умерла в начале 1825 г. По мнению новейших исследователей, элегия написана в том же 1825 году. И вот—под элегией Пушкин помечает: услышал о смерти в 1825 г. Чем мог он руководствоваться, делая такую ничемную помету? Умерла в 1825 году, стихотворение написано в 1825 году, а под ним — услышал о смерти в 1825 г. Ну, конечно, в 1825! Когда же еще? Странно было бы, если бы такая самоочевидная мысль даже просто промелькнула в уме Пушкина. А он для чего-то считает нужным записать ее, закрепить, как нечто примечательное! И потом: что это за странная дата? Не когда случилось событие, а когда человек услышал о нем?

Совсем другой характер получает эта помета, если элегия написана *не* в 1825 году. Ризнич умерла. Через несколько месяцев Пушкин узнает об ее смерти,—и никак не реагирует поэтически на услышанную весть. Проходит год. Случайная ассоциация напоминает Пуш-

кину о смерти Ризнич,—и он пишет элегию на ее смерть. Еще Анненков отмечал, что Пушкин часто сам должен был с недоумением останавливаться перед чудесною силою своего таланта и его своеобразною прихотливостью. Такой запоздалый отклик на смерть любимой женщины легко мог поразить самого Пушкина,—и удивление перед странным капризом своей музы, этой „своенравной волшебницы“, не подчиняющейся никаким законам, он и отметил записью: „услышал о смерти в 1825 году“,—услышал в 1825, а элегию написал в 1826.

Вторая помета под стихотворением: „услышал о смерти Рылеева, Пестеля и т. д.—24 июля“. И опять—поражающая странность. Пушкин услышал о казни декабристов и записывает—что? Не день казни их, что было бы вполне естественно, а случайный день, когда он услышал о казни. Что же в этом-то дне замечательного? И записывает он не в дневнике под данным числом. Нет. По представлению Ефремова и Морозова, он берет *случайно* подвернувшийся листок с прошлогодним стихотворением и *случайно* под записью „услышал о смерти Ризнич 25“ пишет свою—либо слишком случайную, либо, напротив, слишком уж неслучайную помету: „услышал о смерти декабристов 24“.

Совпадение помет, конечно, не случайное. Если два раза подряд Пушкин записывает такие странные даты, как даты времени, когда он услышал о двух поразивших его событиях, то ясно, что он имел в виду сопоставление этих дат, что они тесно связаны друг с другом,—вторая столь же тесно с первой, как первая с самим стихотворением. А в таком случае стихотворение не могло быть написано раньше более поздней из этих дат, т.-е. 24 июля 1826 года. И тогда мы в праве заключить, что написанное *над* элегией

число „29 июля 1826“ представляет дату действительного написания элегии.

Тот же П. О. Морозов в более ранних по времени примечаниях в Венгеровском издании Пушкина (III, 577) читает первую помету иначе: „Услышал о смерти 25 июля“. Так же читает ее и П. Е. Щеголев в своем исследовании об Амалии Ризнич.¹⁾ Нам такое чтение пометы представляется более правильным. На подлиннике цифры в пометах поставлены точно одна под другой,—для этого Пушкину пришлось вторую помету, более длинную, начать, отступив влево от начала первой пометы, и несколько сжать в ней буквы. Очевидно, вся суть для него была в сопоставлении цифр. И естественно предположить, что цифры сопоставлялись равнокачественные: услышал о смерти декабристов 24 июля (1826 года), услышал о смерти Ризнич—25 июля... Но какого года? 1825 или 1826? Для решения этого вопроса мы не имеем достаточно данных. Во всяком случае, мы не решились бы утверждать уверенно, что в 1825 году: 13 августа этого года Пушкин пишет В. И Туманскому в Одессу: „Об Одессе, кроме газетных известий, я ничего не знаю; напиши мне что-нибудь“. ²⁾

Второй довод, приводимый редакторами новейших изданий Пушкина за датировку элегии 1825 годом,—что сам Пушкин датировал ее 1825 годом. Но Пушкин нередко вполне сознательно давал в печати своим стихам неверные даты. В майковском собрании пушкинских рукописей, принадлежащем Академии Наук, находится, между прочим, перечень стихотворений, сделанный Пушкиным для предполагавшегося издания его сочинений (описан П. О. Морозовым, — „*Пушкин и его современники*“).

1) „Пушкин“, СПб, 1912, стр. 215.

2) Переписка Пушкина. Акад. изд. I, 261.

менники, XVI, 117). В нем, между прочим, поименованы „Расставание“, „Заклинание“ и „Для берегов отчизны дальней“. Все три стихотворения эти с совершенною достоверностью написаны в знаменитую болдинскую „детородную“ осень 1830 года. Между тем, в перечне — „Расставание“ отнесено к 1829 году, другие два стихотворения — к 1828. Мотивы вполне ясны: осенью 1830 года Пушкин был счастливым женихом своей красавицы-невесты, и вот, в вынужденной разлуке с нею, страстно рвется — не к ней, а к призраку какой-то умершей своей возлюбленной. Конечно, оповещать об этом публику и ревнивую жену было не совсем удобно, — и Пушкин отнес стихотворения к более ранним годам. Другой пример — стихотворение „К фонтану Бахчисарайского дворца“. Сам Пушкин помечал его 1820 годом (время посещения им Бахчисарая). Однако основной черновик стихотворения находится в тетради 1824 года, среди черновиков „Подражаний Корану“, написанных несомненно в 1824 году. И многие авторитетные исследователи — Л. Н. Майков, П. О. Морозов — считают это стихотворение написанным в 1824 г. Причина неверной датировки Пушкиным как стихотворения „К фонтану“, так и разбираемой нами элегии, вполне очевидна. С виду, — душа на распашку, Пушкин в действительности был глубоко скрытен. Всего менее любил он допускать любопытных в святилище своего творчества, в котором и до сих пор еще для нас так много неизведанных тайн. Но приятелей, знакомых со всеми внешними обстоятельствами его жизни, у Пушкина всегда была бездна. Если даже теперь, через сотню лет, даже М. О. Гершензон может полагать, что несвоевременная реакция на впечатления жизни служит свидетельством „нечестности“ поэта, то можно себе представить, сколько недоумений мог ждать Пушкин

от своих приятелей, опубликовывая подлинные даты написания „К фонтану Бахчисарайского дворца“ и элегии на смерть г-жи Ризнич.

— Помилуй, любезный друг! Что же это? В Бахчисарае ты был в двадцатом году, а воспеть свое посещение собрался в двадцать четвертом! Ризнич умерла в начале 1825 года, а ты только летом 1826 раскачался почтить ее память элегией!

...Шутками одними
Тебя, как шапками, и враг, и друг,
Соединясь, все закидают вдруг...

И, чтобы в корне пресечь все эти недоумения и шутки, Пушкин стихотворение „К фонтану“ помещает под 1820 годом и элегию на смерть Ризнич—под 1825

Развитые соображения лично для меня кажутся достаточно вескими и убедительными, чтобы с полной уверенностью отнести разбираемую элегию к 1826 г. Но рассуждения эти становятся только подсобными и даже, пожалуй, совершенно излишними для всякого, кто возьмет на себя труд ознакомиться с подлинником того „черновика“, о котором тут уж так много говорилось. Ведь фундаментом, на котором строились все доводы новейших редакторов Пушкина, было предположение, что пометы при стихотворении к нему не относятся, написаны позже и попали сюда случайно. Подлинник элегии находится в Москве, в рукописном отделении Румянцовского музея (№ 3266), и всякий желающий может с ним познакомиться.

Прежде всего, это вовсе не „черновик“, как все время говорил Морозов, очевидно, его не видевший.

Это несомненный беловик, переписанный Пушкиным весьма тщательно. Правда, сравнительно с печатным текстом есть несколько вариантов. Но всего три незначительных поправки. А ведь известно, как исчерканы и перечерканы все черновики Пушкина, каким они исписаны своеобразным почерком, нервным и нетерпеливым. Тут же ничего похожего.

Для всякого, кто даже бегло взглянет на эту четвертушку серой бумаги, будет совершенно несомненно, что стихотворение со всеми своими пометами написано *одновременно, в один присест*. Тот же ровный, спокойно-беловой почерк, те же выцветшие; рыжеватые, одинакового тона чернила от первой буквы до последней. Верхняя помета помещена не сбоку где-нибудь, не наскоро. Совершенно определено (на это указал уже П. В. Анненков) помета написана, *как заглавие* стихотворения,—подчеркнута—и дальше тем же тщательным почерком выписано все стихотворение. Только в последней помете, как я уже указывал, буквы написаны несколько более узко для того, чтобы цифры пришлись одна под другою.

На этом я настаиваю: верхняя помета с полной очевидностью представляет из себя подлинное заглавие элегии. Пример такого рода заглавия мы знаем у Пушкина. Дата написания стихотворения—„Дар напрасный, дар случайный,—Жизнь, зачем ты мне дана?“—тоже представляет собою заглавие стихотворения: „26 мая 1828“. Под таким заглавием оно при жизни Пушкина и печаталось. Но ясно, что в таком случае дата была не случайным числом, в ней было для Пушкина нечто знаменательное. И действительно, 26 мая был день рождения Пушкина. Столь же, очевидно, знаменательна в каком-то отношении была для Пушкина и дата написания элегии на смерть Ризнич. Что-то в этой дате

было для него особенное, тесно связанное с стихотворением, что-то, что он считал нужным для себя подчеркнуть.

В последнее время М. Л. Гофман ведет энергичную и обоснованную агитацию за „канонический“ текст Пушкина. Но нельзя, конечно, считать каноническим просто тот текст, с которым Пушкин, по ряду личных соображений, считал нужным выступать перед своими современниками. В таком случае, напр., канонический текст элегии—„Редает облаков летучая гряда“—пришлось бы печатать без трех заключительных стихов: Пушкин очень сердился на А. Бестужева за то, что тот по недосмотру напечатал элегию целиком, и в последующих изданиях печатал ее без заключительных трех стихов, имевших для Пушкина слишком интимный характер. Это обстоятельство, разумеется, несколько не обязывает и нас откидывать указанные три стиха. Интимным, не предназначенным для современников заглавием элегии на смерть г-жи Ризнич, было: „29 июля 1826“. Это заглавие, мне кажется, и должно бы считаться каноническим.

Но раз все это так, то в пометах Пушкина при элегии нельзя не видеть кратко отмеченного им для себя какого-то своеобразного пути, которым он от вести о казни декабристов пришел к написанию элегии на смерть г-жи Ризнич. Пометы эти приоткрывают краешек завесы над одною из самых загадочных тайн пушкинского творчества.

Приведенная выдержка из новейшей книги М. О. Гершензона показывает, как прочно и до сих пор распространено мнение, что лирический поэт творит под

непосредственным впечатлением жизни, что эта непосредственность отклика служит лучшим свидетельством правдивости и художественной честности поэта. С этой точки зрения, чем сильнее впечатление, полученное поэтом от жизни, чем живее бьется в его душе радость, гнев, отчаянье, скорбь,—тем сильнее будет и само его произведение. Величайшее и самое завидное преимущество поэта перед нами, обыкновенными людьми, заключается в том, что теснящие душу чувства, которые мы изживаем молча, поэт гармонизирует в своих стихах, очищая и просветляя этим свою душу. Как говорит Торквато Тассо у Гете:

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide,—

„другие люди в своих мучениях осуждены на молчание, мне же некий бог дал возможность рассказывать о том, как я страдаю“. У таких поэтов их лирика есть их полная биография. Все, что они сильно переживали в жизни, естественно, наиболее сильно отражалось и в их лирике. Характерны в этом отношении древнеэллинистские поэты. Даже по тем скудным отрывкам, которые дошли до нас от Архилоха, Алкмана, Алкея и Сафо, мы имеем возможность установить все важнейшие моменты их биографии. В новое время характернейший тип такого рода поэта представляет Байрон. Он мог писать только в состоянии аффекта, властно охваченный силою непосредственного переживания. „Все судороги кончаются у меня рифмами, — говорит он.—Я никогда ничего не переделываю. Я подобен тигру: если первый прыжок мне не удастся, я, ворча, возвращаюсь обратно в кустарники“. „Шильонский узник“ написан им в течение первых двух дней после посещения Шильонского замка, „Жалоба Тасса“ вылилась

чуть ли не в той самой тюрьме, где сидел Тассо. У таких поэтов сила поэтического отзвука на впечатление жизни прямо пропорциональна силе этого впечатления. Лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина могло быть написано только под свежим впечатлением его смерти.

Совсем не то у Пушкина. Процесс своего творчества он подробно описывает в заключительных строфах первой песни „Онегина“. Признания эти часто цитируются, и все-таки далеко недостаточно восприняты в своей своеобразности и во всей своей психологической парадоксальности.

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя во след,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.
Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует. .
.
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать ...

Тревога любви проходит для Пушкина „безотрадно“ он не может в творчестве успокоить „мук сердца“. Сила непосредственного чувства „затемняет“ его ум; это непосредственное чувство должно совершенно перегореть, превратиться в пепел, — тогда затемненный

страстью ум „проясняется“, и поэт, став „свободным“, обретает союз между волшебными звуками, с одной стороны, чувствами и думами,—с другой.

Это ставит вверх ногами все обычные наши представления о процессе творчества лирического поэта. Если непосредственное чувство должно быть предварительно совершенно изжито, должно потерять всю свою живую остроту, то последовательная реакция на него, естественно, будет уже только случайной и психологически не повелительной. Это мы и видим у Пушкина.

Мы знаем, в жизни Пушкина было несколько очень глубоких и сильных любовных увлечений. И вот, если мы рассмотрим стихотворения, отражающие эти сильные увлечения, то увидим, что в подавляющем большинстве их изображается не непосредственное переживание, а *воспоминание* („Погасло дневное светило“, „Редет облаков летучая гряда“, „Ненастный день потух“, „Ты видел деву“, „Талисман“, „Кто знает край“, „Расставание“, „Заклинание“, „Для берегов отчизны“ и т. д.). Есть рядом с этим стихотворения, изображающие и непосредственное переживание, но, во-первых, их поразительно мало, а во-вторых, — и относительно этих стихотворений мы не знаем, написаны ли они под непосредственным впечатлением или позже, — когда само чувство уже превратилось в „погасший пепел“. Под непосредственным впечатлением, мы знаем, написано стихотворение к А. П. Керн (19 июля 1825 года, в день ее отъезда из Тригорского). Но процесс, приведший Пушкина к написанию этого стихотворения, — самый фантастический. Останавливаться на нем здесь не место. Но напомню, что Анна Петровна Керн, уезжая из Тригорского, увозила с собою два посвященных ей стихотворения Пушкина. Одно:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Другое—циничное послание к Родзянке, сожителю г-жи Керн, в котором об этом самом „гение чистой красоты“ писалось:

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу...

Далее. Мы находим у Пушкина большое количество стихотворений, отражающих его увлечения, не „затемнявшие“ ум,—к бесчисленным барышням Вульф, их родственницам и кузинам, ко всяким московским барышням. Но и здесь наблюдается большая случайность. Несколько стихотворений посвящено сестрам Ушаковым, и ни одного—сестрам княжнам Урусовым, которыми в 1827 году Пушкин увлекался не менее, чем Ушаковыми. Несоразмерно большое количество стихотворений посвящено А. А. Олениной („Город пышный“, „К Доу эскв.“, „Ее глаза“, „Ты и вы“, может быть,—„Предчувствие“, „Приметы“, „Что в имени тебе моем“, „Я вас любил“). Между тем в биографических и эпистолярных материалах это увлечение Пушкина не находит почти никакого отражения. Повидимому, увлечение носило почти эстетический характер. На неглубокость его указывает и стихотворение самого Пушкина к Нетти Вульф: „За Нетти сердцем я летаю—В Твери, в Москве—И Р. и О. позабываю—Для Н. и В.“ О.—Оленина фигурирует тут рядом с другою красавицею,—Р—Россет, и все трое, вместе с Нетти Вульф, владеют сердцем поэта. И взять рядом увлечение Пуш-

кина Наталией Николаевной Гончаровой, будущей его женою. Это был ураган, в течение двух слишком лет трепавший, как былинку, душу Пушкина и совершенно затуманивший его ум. Попросил руки,—отказали. Через год просит вторично. Из-за любви к этой недалекой шестнадцатилетней девочке-бесприданнице он решается пожертвовать своею холостою свободою и материальною независимостью, идет на противные ему денежные заботы, мало того,—готов связать свою судьбу с девушкою, которая, как он прекрасно понимает, не любит и не может любить его,—в обывательском расчете: „стерпится—слюбится“. Теряется, как застенчивый мальчик, от надежды переходит к отчаянью, в тоске мечется из Москвы в Петербург, из Петербурга в Михайловское, бросается под турецкие пули, рвется уехать хоть в Китай. Ужасается той петли, которую сам же собирается на себя накинуть,—и тем настойчивее старается добиться цели. Как же сильна должна была быть его страсть! И вот,—только два, всего два стихотворения, с несомненною относящихся к Гончаровой,—элегический отрывок „Поедем, я готов“ и „Мадонна!“.¹⁾ Служат ли эти стихотворения хотя бы отдаленным отражением действительных чувств, которые переживал Пушкин в любви своей к Гончаровой?

Так—в области любви. Но так у Пушкина в области и вообще всякого сильного чувства. Умер барон Дельвиг,—лучший и самый близкий друг Пушкина. „Никто на свете не был мне ближе Дельвига“,—пишет Пушкин

¹⁾ Известное стихотворение „Красавице“ („Все в ней гармония, все диво“), как доказано новейшими исследованиями, обращено не к Гончаровой. — Что касается стихотворения „Мадонна“, то сам Пушкин,—как думает кн. П. П. Вяземский, — „из напускного цинизма“,—утверждал, что оно сочинено им для другой женщины, а не для жены. (*Собр. соч. кн. П. П. Вяземского. СПб. 1893, Стр. 521*).

Плетневу. Вяземский сообщает: „Едва ли не Дельвиг был, между приятелями, ближайшая и постояннейшая привязанность Пушкина“. ¹⁾ И никакого непосредственного поэтического отзвука на эту смерть! Только много позже, когда непосредственная боль утраты совершенно уже прошла, Пушкин с светлою грустью поминает своего друга в стихотворении— „Чем чаще празднует лицей“. Умерла няня Арина Родионовна. А. П. Керн говорит в своих воспоминаниях, что из женщин Пушкин „никого истинно не любил, кроме няни своей и сестры“. Поэт Языков, всего несколько раз видевший Арину Родионовну, пишет стихотворение на ее смерть. А Пушкин молчит. И только через семь лет посвящает ее памяти задушевные, грустные строки в стихотворении „Опять на родине“.

Последние месяцы жизни Пушкина, кончившиеся дуэлью. Ревность, злоба, бешенство непрерывно кипят в нем, доводят почти до сумасшествия. И ни единого отзвука этих чувств в его поэзии. Какими ослепительными, зловещими молниями засверкало бы при таких обстоятельствах творчество Архилоха или Байрона! Друг Архилоха совершил по отношению к нему какое-то предательство.

Пускай близ Салмидесса ночью темною
Взяли б фракийцы его
Чубатые,—у них он настрадался бы,
Рабскую пищу едя!—
Пусть взяли бы его,—закоченевшего,
Голого, в травах морских,
А он зубами, как собака, ляскал бы,
Лежа без сил на песке
Ничком, среди прибоя волн бушующих.
Рад бы я был, если б так
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал,—
Он, мой товарищ былой!

¹⁾ Соч. кн. П. А. Вяземского, VIII, 442.

Вот как пишут под непосредственным впечатлением. Пушкин же под непосредственным впечатлением, по-видимому, способен был писать только свои „пакости“, эпиграммы и сатиры в роде „На выздоровление Лукулла“, в которых позже сам раскаивался. И так становится понятным, почему Пушкин не любил волнующей кровь весны и способен был творить только в спокойную, бесстрастную осеннюю пору!

Пометы Пушкина при разобранной нами элегии на смерть Ризнич привносят в эту своеобразную психологию пушкинского творчества черту, еще более своеобразную.

24 июля 1826 года Пушкин узнал о казни декабристов. Большинство их он знал лично, с некоторыми, как с Рылеевым, был близок. Мы знаем, как потрясла Пушкина эта весть. Несколько раз он говорит об этом в письмах. В черновиках его находим рисунки, изображающие виселицу с висящими на ней пятью фигурами, находим инициалы повешенных с припискою: „видел во сне“. И вот, через пять дней после этой потрясающей вести Пушкин пишет элегию на смерть... Амалии Ризнич! Через пять дней! Перед глазами—проклятая виселица, трупы повешенных друзей не дают покою ни днем, ни ночью,—а он поет о „бедной, легковерной тени“ своей возлюбленной, умершей полтора года назад! Возлюбленной, весть о смерти которой, как сам же он сообщает в элегии, оставила его совершенно равнодушным! Что же это такое? Психика Пушкина, бесспорно, была очень подвижная, но ведь это уж превосходит всякое вероятие.

Мы имеем перед собою два несомненных факта. Первый: на художественную об'ективацию непосредственной своей жизненной боли и радости Пушкин был неспособен,—он переживал их „безотрадно“, не умея горячкой

рифм успокоить мук сердца. Второй, столь же несомненный факт: именно уход в творчество давал Пушкину силу нести тяготы жизни и сохранять душу живую.

А ты, младое вдохновенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,—
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Как венецианский гондольер,

Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и тихой музы полн,
Умеет улаждать свой путь над бездной волн.

Как же совмещались у Пушкина эти два взаимно исключаящие друг друга факта,—неспособность изливать непосредственные боли жизни в творчестве и потребность разрешать боли жизни именно в творчестве? Намек на ответ дает нам элегия на смерть Ризнич с сопровождающими ее пометами: от живой боли жизни Пушкин уходил со своим творчеством *в сторону* от жизни; в творчестве на темы, переставшие его непосредственно волновать, он находил то успокоение, то исцеление и очищение души,—аристотелевский *кафарсис*,—которые давали ему возможность нести реальные боли жизни. В таком освещении нам станет понятен тот своеобразный путь, которым Пушкин, под живым впечатлением смерти декабристов, пришел к написанию элегии на смерть давно умершей Ризнич. Путь этот был достаточно своеобразен, чтоб поразить самого Пушкина и вызвать у него желание

Отметить его для себя маленькими вехами в виде разобранных помет, которые в обычном толковании являются не только ничего не говорящими, но просто глупыми. Смысл помет: „Услышал о смерти декабристов 24 июля этого года, год без дня назад (или через день после первой вести), услышал о смерти Ризнич— и вот 29 июля написал элегию на смерть... Ризнич!“

Такое понимание процесса написания нашей элегии бросает свет и на целый ряд других чрезвычайно загадочных фактов в творческой жизни Пушкина. Укажу на два.

1 мая 1829 года Пушкин пишет Наталии Ивановне Гончаровой (матери), приславшей ему вежливый отказ в руке ее дочери, письмо, полное скорби и робких надежд,—и в ту же ночь уезжает на Кавказ, в действующую армию, чтоб размыкать свое горе. И вот через две недели, 15 мая, он пишет стихотворение, отрывок из которого в обработанном виде печатается так:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит—оттого,
Что не любить оно не может.

О ком может здесь идти речь? Всякий здравомыслящий человек скажет: „ну, конечно, о Наталии Гончаровой“. Так долго и думали все исследователи. Но знакомство с черновиками стихотворения дало самые неожиданные результаты. Там читаем: „Я снова юн и твой“... „Я твой *по-(прежнему)*, я вновь тебя люблю, и без надежд, и без желаний... Чиста моя

любовь и нежность девственных мечтаний...“. „Прошли забытые... *Дни... многих лет...*“¹⁾ Очевидно, стихотворение обращено к женщине, которую Пушкин любил когда-то прежде, вероятнее всего, как догадывается Е. Г. Вейденбаум, к Марии Раевской, о знакомстве с которой ему напомнил Кавказ. Две недели прошло,—и Пушкин забыл о Гончаровой, и уж полон любви к далекой Раевской!.. Маленькая девочка, у которой братишка отнял куклу, заливается горьким плачем; увидела воробья—и уж забыла о своем горе, и радостно смеется, а на щеках еще не высохли слезы. Можно ли такую младенческую подвижность психики предполагать хотя бы даже у непостоянного Пушкина? Раньше я готов был допустить это. Теперь мне представляется более вероятным другое объяснение: от „безотрадно“ переживаемой живой, сверлящей тоски по Наталье Гончаровой он в творчестве своем уходил в „светлую печаль“ о далекой любви, покрытой в душе многослойным пеплом перегоревших увлечений.

Осенью 1830 года Пушкин, уже женихом Гончаровой, уехал в нижегородскую свою деревню Болдино, для устройства имущественных дел. Думал пробыть месяц,—пришлось пробыть три: разразилась холера, карантин отрезали его от Москвы. Письма от невесты приходят неправильно, отец сообщает сплетни, что она, будто бы, выходит замуж за другого. Пушкин волнуется, три раза пытается пробраться в Москву, но неудачно. Эти три месяца вынужденного уединения были для Пушкина временем колоссальной художественной продуктивности. В Болдине написаны его несравненные маленькие драмы,—„Моцарт и Сальери“,

¹⁾ И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина, СПб 1903, стр. 8.

„Пир во время чумы“ и пр.,—две последние главы „Онегина“, „Домик в Коломне“, „Повести Белкина“, около тридцати мелких стихотворений. И во всем этом—ни-какого отражения тех чувств, которые так ярко и напряженно кипят в его письмах из Болдина! Как будто и нет никакой Гончаровой, нет по поводу ее ни сомнений, ни беспокойства, нет порываний. Мало того. Перед Пушкиным неотступно стоит обольсти-тельный призрак какой-то давно умершей его возлюб-ленной, и он страстно тянется к ней всем своим существом, и воспевает ее в целом ряде стихотво-рений („Расставание“, „Заклинание“, „Для берегов отчизны“):

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба:
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... Но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой... Сюда, сюда!

Что это? С глаз долой—и с сердца долой? Есть ли это выражение крайнего непостоянства *человека*? Или это есть уход *художника* от волнений живой жизни в мир „светлых привидений“, совершенно не связанных с этою жизнью?

1923.

Об автобиографичности Пушкина

Доклад этот, направленный против одной из любимейших мыслей М. О. Гершензона в области пушкиноведения, был прочитан 13 февр. 1925 г. в Академии Художественных Наук, в присутствии М. О. Гершензона. Спорили много и страстно. Мих. Осип. был полон жизни, полон того милого, трепетного душевного сверкания, которое так для него было характерно. Через шесть дней он лежал в гробу... Не будет обидою, если эту статью, направленную против некоторых взглядов Гершензона, я посвящу его памяти.

Автобиографичен ли Пушкин?

Автобиографичен, собственно говоря, всякий художник, — в этом его отличие, напр., от научного исследователя. Читая трактат Гарвея о кровообращении или работы академика Павлова об условных рефлексах, мы не получаем никакого представления о личности самих исследователей. Всякий же художник лишь постольку и интересен, поскольку он отражает в своем творчестве живую свою личность с ее чувствами, настроениями, стремлениями и мечтами. Сугубо-автобиографичен лирический поэт, специально пишущий, в большинстве случаев, о своих личных переживаниях. В этом общем смысле, конечно, не представляет исключения и Пушкин.

Но лет пятнадцать назад М. О. Гершензоном было выдвинуто положение о специальной, исключительной автобиографичности Пушкина. В статье своей „Северная любовь Пушкина“, напечатанной в январьской книжке „Вестника Европы“ за 1908 г., Гершензон писал: „Биографы оставили без внимания весь тот обильный биографический материал, который заключен в стихах Пушкина. Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства,—надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину“. ¹⁾ И в ряде других статей Гершензон не устает твердить о „поразительной, щепетильной, почти педантической правдивости Пушкина“ (стр. 171). Вот до каких размеров доходит, по мнению Гершензона, эта честность Пушкина: „Стихотворение *Бесы* написано в начале сентября, когда нет никаких метелей, ни снега, когда вообще в помине не было той реальной обстановки, которая изображена в стихотворении. Пушкин никогда не выдумывал фактов, когда излагал их автобиографически; напротив, в этом отношении он был правдив и даже точен до иоты. Он был бы неспособен в солнечный и теплый день ранней осени, лежа на канаве, выводить пером такие строки:

Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна...“ (стр. 130).

Тут я просто не могу понять, что хотел сказать М. О. Гершензон. Ну, а в ясный и тихий зимний день мог Пушкин писать о метели? Мог он писать о ней,—

¹⁾ М. О. Гершензон, „Мудрость Пушкина“, 155.

хотя бы и во время метели, но лежа на канаве в теплой комнате? Или же, раз— „еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь“, то честный поэт мог об этом писать, только сидя в возке, среди выюжных полей? Как мог Пушкин в слякотный октябрьский петербургский день писать: „Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут“?

Такое ответственнойшее положение о безусловной, прямой автобиографичности художественного творчества Пушкина можно, казалось бы, выставлять лишь после очень большой предварительной работы, которая бы установила точное, и притом *неизменное, постоянное* совпадение поэтических признаний Пушкина с имеющимися в нашем распоряжении биографическими данными. Ничего такого М. О. Гершензоном не сделано. Утверждение его о глубокой автобиографичности Пушкина носит совершенно догматический характер, он даже и не пытается его доказывать. Если бы дело шло только о самом Гершензоне, то большой беды тут не было бы. Метод его никуда не годится, но сам он так умен и интересен, так знает Пушкина и так трогательно любит его, так много думал над ним, что читаешь любую его работу: не соглашаешься подчас ни с одним словом, всю статью испещришь вопросительными и восклицательными знаками, а прочтешь,— и столько в голове поднимается вопросов, так по-новому начинаешь чувствовать Пушкина, так ярко начинаешь сознавать необходимость пристальнее, глубже, острее вчитываться в Пушкина, что больше получаешь от этой статьи, чем от иной статьи, с которой соглашаешься вполне. Да и сам Гершензон не любит спорить и доказывать. Он в науке больше поэт, чем исследователь. На возражения он часто отвечает: „Вы смотрите так, я так“. Излагая свой взгляд на „Домик в Коломне“,

замечает: „Мое восприятие субъективно,—я и не думаю доказывать его верность“ (стр. 146).

Но своим утверждением о полной автобиографичности Пушкина Гершензон вообще устанавливает определенный подход к художественным произведениям Пушкина. В этом направлении и до Гершензона биографы грешили сверх всякой меры, теперь же такой подход освящается авторитетом одного из выдающихся современных пушкинистов. К каким негодным, ненаучным результатам ведет такой подход, показывает недавно вышедшая книжка В. Ф. Ходасевича „Поэтическое хозяйство Пушкина“ (кн. I, 1924), в некоторых других отношениях, впрочем, весьма ценная.

В. Ф. Ходасевич так же категорически и так же бездоказательно декретирует абсолютную автобиографичность Пушкина. И получается из этого вот что.

В апреле—мае 1826 г. Пушкин направляет забеременевшую от него дворовую девушку из Михайловского в Москву к кн. Вяземскому, просит приютить ее и „позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик“. Девушку было решено отправить в нижегородскую деревню Пушкиных, Болдино. О дальнейшей судьбе этой девушки и ее ребенка нам ничего неизвестно. „И мать, и ребенок,—пишет В. Ф. Ходасевич,—как в воду канули. А может быть, так и было? Да, может быть, так и было“. Беременная девушка, по мнению Ходасевича, в буквальном смысле канула в воду, т.е. утонула, о чем весьма убедительно свидетельствует... пушкинская драма „Русалка“. „Скажу прямо,—заявляет Ходасевич,—„Русалка“, как и весь Пушкин, глубоко автобиографична. Она—отражение истории с той девушкой, которую поэт неосторожно обрюхатил. Русалка, это и есть та безымянная девушка, которую отослали рожать в Болдино, князь—сам

Пушкин“ (стр. 119). Только так, по мнению Ходасевича, можно объяснить бесследное исчезновение матери и ребенка. „Если, как это ни трудно, допустить,—пишет Ходасевич,—что ребенок с матерью жили в Болдине, ничем, никогда не напоминая о своем существовании, то придется допустить нечто еще более невероятное: психологическую возможность для Пушкина-жениха перед самой свадьбой отправиться для осенних вдохновений в это самое Болдино, где живет его собственный ребенок со своею матерью. Несомненно, что если бы возможность такой встречи существовала, то Пушкин в Болдино не поехал бы“ (стр. 121). Во-первых, Пушкин тогда поехал в Болдино вовсе не для „осенних вдохновений“, а для весьма прозаического устройства своих имущественных дел перед женитьбой. А во-вторых, поражает тут у Ходасевича полное отсутствие исторической перспективы. То, что нам представляется чудовищным и психологически-невероятным, в те времена было обычнейшим явлением, на котором никто и внимания не останавливал. „Детей у Ивана Ивановича не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни. Гапка—девка здоровая, с свежими икрами и щеками. А какой богомольный человек Иван Иванович!..“ Так у Гоголя. А вот что рассказывает Лев Толстой: „Отец мой, лет шестнадцати, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почталыоны. Он потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью и был благодарен за 10—15 рублей, которые давали ему“. Сам Пушкин так описывает в „Онегине“ время-препровождение холостого барина в деревне:

Прогулки, чтение, сон глубокой,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый...

Поцелуй белянки, т.-е. дворовой девушки, проводящей время за домашними работами в комнатах, в отличие от загорелых крестьянских девушек, работающих в поле,—поцелуй белянки этой фигурирует, как нечто вполне обычное, между чтением, сном и верховыми прогулками барина.

То соображение, что мы не имеем никаких сведений о дальнейшей судьбе девушки, отосланной Пушкиным в Москву, и другие соображения Ходасевича, сами по себе столь же мало убедительные, могут привести нас к заключению, что девушка утопилась, лишь при вере нашей в догмат об абсолютной автобиографичности Пушкина вообще и его „Русалки“— в частности. Если же веры этой у нас нет, то на все соображения Ходасевича можно ответить только одно: „Да, могло быть“. Могло быть, могло и не быть. Что делать с этим вялым и бесплодным „могло быть“, кому и на что оно нужно? Необходимо решительнейшим образом осудить то безудержное и бесконтрольное фантазирование, которому с самым серьезным видом предаются иные исследователи пушкинского творчества.

Посмотрите, до чего тут все произвольно. Веруя в автобиографичность Пушкина, Ходасевич рисует портрет отца пушкинской любовницы с мельника в „Русалке“. Но в „Русалке“ мельник, как известно, сходит с ума. „Вряд ли,— пишет Ходасевич,— михайловский мужик столь же романтически сошел с ума, но *вполне возможно и житейски правдоподобно, что он спился и*

опустился, как станционный смотритель“. Это еще откуда? А видите ли, в „Станционном смотрителе“ у Пушкина также выведена драма между отцом и дочерью, значит, „вполне возможно“, что судьба отца девушки была такая, как станционного смотрителя. Но позвольте! В „Полтаве“ тоже выведена драма между отцом и дочерью,— отчего не допустить, что отец девушки, подобно Кочубею, „бесчестья дочери не снес“, и написал на поднадзорного Пушкина донос, что за это его — ну, не пытали и не казнили, но наказали кнутом и сослали в Сибирь? И не есть ли вся „Полтава“ выражение раскаяния, которое мучило Пушкина, не казнил ли он сам себя в лице Мазепы? Отчего это невозможно? Все возможно! Но какая цена этим произвольным домыслам?

Все такие безногие догадки, колеблясь на костылях, держатся в неустойчивом равновесии, пока их никто не трогает, и сконфуженно валяются навзничь, как только до них дотронутся подлинные факты. Вот, напр., в № 3 „Русского Современника“ Б. В. Томашевский, в рецензии на книгу Ходасевича, сообщает, что П. Е. Щеголев напал на следы упомянутой девушки. Оказывается, и она, и ребенок ее благополучно здравствовали много времени спустя после отъезда девушки в Болдино. Что же тогда остается от „глубокой автобиографичности“ „Русалки“?

Ни единого твердого биографического факта нельзя извлечь непосредственно из поэтических признаний Пушкина. А если какие и извлекаются, то их приходится обрабатывать и перетолковывать самым произвольным образом, чтобы согласовать с подлинными фактами. М. О. Гершензон приводит целый ряд поэтических сообщений Пушкина, что в 1820 г. он, „искатель новых впечатлений“, бежал с севера, — „сети

разорвав, где бился я в плену“. Раз Пушкин педантически-автобиографичен, то мы должны бы заключить, что Пушкин добровольно уехал из Петербурга. Следуя разбираемому методу, мы такое бы заключение и сделали, и даже подтвердили бы его цитатой из письма Пушкина в марте 1820 г.: „Петербург душен для поэта, я жажду краев чужих“ и т. д. Однако мы доподлинно знаем, что в мае 1820 г. Пушкин был выслан из Петербурга. Как же тут быть с автобиографичностью? Вот как. „Правда, Пушкин не сам расторгнул оковы,— пишет М. О. Гершензон,— он выброшен из Петербурга грубой рукой; но он так долго, так страстно рвался вон, что важность самого факта застилает для него причину: ему кажется, что он сам бежал в поисках свободы и свежих впечатлений“ (стр. 163). Может быть, и так, но значит, Пушкин передает в стихах факты не так, как они происходили в действительности, и, следовательно, он не педантически-автобиографичен.

Вопрос о пригодности поэтических признаний Пушкина для биографических целей тесно сплетается с обратным вопросом,— с вопросом о допустимости подведения известных нам биографических фактов под поэтическое творчество Пушкина, с вопросом, каким образом использовал он в своем творчестве тот материал, который давала ему жизнь? И здесь — та же произвольность, та же ненаучная фантастика, та же безудержность в высказывании никчемнейших домыслов.

Процесс художественного творчества до сего времени почти совершенно еще не исследован; не исследован и вообще, не исследован и в применении к каждому художнику в отдельности, а это необходимо, потому что процесс творчества глубоко индивидуален

и у каждого художника свой. При таком положении дела необходимо подходить к этому вопросу с величайшей осторожностью, отбросив всякие априорные представления, подвергая всякий факт строжайшей критике. Ведь имеем мы дело с явлением совершенно неисследованным, притом до чрезвычайности тонким и загадочным. Но типичный современный исследователь никаких сомнений тут не испытывает. Он доподлинно знает, неизвестно откуда, что художник совершенно лишен творческой фантазии, что весь свой материал целиком он рабски и беспомощно черпает из жизни. Работа, таким образом, становится очень простой: отыскивается в жизни художника факт, более или менее напоминающий что-либо в его произведении,—и сближение готово, и нам демонстрируется биографическая основа данного художественного произведения или эпизода.

Типичнейшие образцы—в той же работе В. Ф. Ходасевича. Пушкин написал „Скупого Рыцаря“. Отец Пушкина, Сергей Львович, тоже был скуп (хотя, заметим, совершенно иначе, нежели скупой рыцарь); Пушкин, как Альбер в драме, тоже страдал от скупости отца. Ну, значит, ясно: „прототипом отношений Альбера со старым бароном являются, несомненно, отношения самого Пушкина с Сергеем Львовичем“¹⁾. В октябре 1824 г., когда ссыльный Пушкин жил в Михайловском, у него произошла тяжелая сцена с отцом, согласившимся взять на себя обязанность шпионить за сыном. Под этим впечатлением Пушкин написал официальную бумагу псковскому губернатору Адеркасу с ходатайством, чтоб его перевели в одну из крепостей. „Психологически и сюжетно,—замечает Ходасевич,—бумага,

1) Поэтич. хозяйство Пушкина, стр. 109.

посланная Адеркасу, соответствует тому месту в „Скупом Рыцаре“, когда Альбер является к герцогу с жалобой на отца“. Отец Пушкина сначала рассказывал, что сын „его бил, хотел бить, мог побить“, потом,— что „непристойно размахивал руками“, наконец,— что он „убил отца словами“ (см. письма Пушкина к Жуковскому от 31 окт. и 29 ноября 1824 г.). Так постепенно понижает свои обвинения лживый, импульсивный и бешено вспыльчивый Сергей Львович. Ходасевич сопоставляет эти обвинения с понижающимися обвинениями, которые высказывает по адресу сына старый барон, припираемый к стене вопросами герцога. „Хотел убить“... *Ходасевич*: „обвинение вполне соответствует обвинению Сергея Львовича: хотел бить“. „Смерть и жаждет он моей“... *Ходасевич*: „вот это и есть тот момент, когда Сергей Львович кричал свое: мог прибить“... „Покушался меня он обокрасть“... *Ходасевич*: „это равняется последнему обвинению Сергея Львовича: да он убил отца словами!“

И Ходасевич заключает: „Автобиографический элемент в „Скупом Рыцаре“ был замечен уже давно. Я лишь хотел на конкретном примере показать, *под каким, так сказать, углом отражал Пушкин действительные события своей жизни в своих творениях*“ (стр. 113). Так, как это делает Ходасевич, нельзя показать решительно ничего. В последние годы В. Ф. Ходасевич выдвинулся в первый ряд современных наших поэтов. И особенно удивительно вышеприведенные рассуждения слышать от художника, который бы уж по себе должен знать о чрезвычайной сложности и прихотливости процесса художественного творчества. На все его рассуждения возможен только один, все тот же ответ, совершенно бесплодный и решительно ничего не дающий: „да, все это *могло быть* так“. Но

Пушкин легко мог наблюдать и другого скупца, гораздо более подходящего к типу скупого рыцаря, чем Сергей Львович; мог слышать от отца или кого-нибудь другого другие, постепенно снижающиеся обвинения, гораздо более характерные, чем случайно дошедшие до нас в письмах Пушкина. Мог — мог — мог... Мог все, что угодно. Каждому из нас десятки раз, конечно, приходилось наблюдать, как вывертывается припертый к стенке лжец, каждый из нас легко мог бы нарисовать такую психологически элементарную сцену без всякого конкретного образца в жизни. Но Пушкин,— Пушкин был так вял и туп фантазией, что ему для этого было необходимо действительное, единично-конкретное событие в жизни!

Другой образец. Есть у Пушкина юношеское стихотворение „Русалка“, где рассказывается, как некий старый монах увидел ночью в озере русалку, которая звала его к себе. Три ночи она являлась ему,— и после третьей ночи „монаха не нашли нигде, и только бороду седую мальчишки видели в воде“. Монах!.. Пушкин в лицейских своих стихах не раз называет лицей монастырем, свою лицейскую комнату—кельей, а себя—монахом и пустынником. А отсюда вытекает вот что: „Пушкин автобиографичен насквозь,—клянется Ходасевич,—и это обстоятельство подсказывает гипотезу: рассказ о „монахе“, соблазненном русалкою, может быть связан с историей первого „падения“ Пушкина-лицеиста. Русалка же может быть именно та Наташа, которая, была его первую любовью с отчетливо-обозначенною чувственную окраскою“ (стр. 14). Понимает ли автор этого юмористического открытия, какие выводы вытекают из него, если дело принимать всерьез? Факт довольно важный в биографическом отношении: что впервые познанная Пушкиным физическая любовь еще

через несколько даже лет после этого, в 1819 году, когда написана „Русалка“, воспринималась Пушкиным, как „падение“, как гибель в некоей пучине. Но ведь „Пушкин автобиографичен насквозь“, а все его стихи той поры свидетельствуют о совсем другом его отношении к такого рода делам: житье тому,

Кто, удалив заботы прочь,
Как верный сын Пафосской веры,
Проводит набожную ночь
С младой монашенкой Цитеры.

(Щербинину, того же 1819 г.)

В том-то и бесплодность, в том-то и ненужность всех такого рода догадок, что на них нельзя строить решительно ничего ни для биографии Пушкина, ни для знакомства с психологией его творчества. А тогда для чего они?

В. Ф. Ходасевич хотел показать, „под каким, так сказать, углом отражал Пушкин действительные события своей жизни в своих творениях“. Научно показать это можно только одним путем: зная доподлинно, что в основе такого-то стихотворения или эпизода лежит такое-то действительное событие в жизни Пушкина, показать, под каким углом оно отразилось в его творчестве. Вот исследовавши это все, мы, действительно, могли бы получить кой-какие сведения, о том, под каким углом отражал Пушкин в своем творчестве действительную жизнь, и сведения эти оказались бы куда своеобразнее, неожиданнее и интереснее, чем те плоские априорные догадки, которые опираются на догмат о непорочной автобиографичности Пушкина.

Первая мысль о физическом законе, что погруженное в жидкость тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная жидкость, пришла в голову

Архимеду, когда он сидел в ванне. Падающее яблоко натолкнуло Ньютона на мысль о всемирном тяготении. Для психологии научного творчества такие факты чрезвычайно интересны. Но представим себе дело так: фактов этих мы не знаем, а имеем только в биографиях Архимеда и Ньютона случайные упоминания, что Архимеда однажды видели берущим ванну, а Ньютона — гуляющим осенью в плодовом саду. И вот проницательный исследователь высказывает догадку: а не натолкнуло ли Архимеда погружение в ванну на первую мысль о его законе, не пришла ли Ньютону идея о тяготении при виде яблока, упавшего в его саду? Случайно эта догадка может совпасть с действительностью, — однако без твердой фактической основы она не имеет решительно никакого значения... А именно такой характер носит большинство догадок насчет психологии пушкинского творчества.

Итак, автобиографичен ли Пушкин?

Люди, близкие к самому Пушкину или его эпохе, дружно и уверенно утверждали, что Пушкин *не* автобиографичен. П. И. Бартенев записывает: „Князь П. А. Вяземский журил нас, что мы в каждом произведении Пушкина ищем черт автобиографических, тогда как много писал Пушкин, вовсе забывая о себе лично“. ¹⁾ П. В. Анненков, собиравший сведения о Пушкине по горячим следам, имевший возможность расспрашивать ближайших друзей Пушкина, указывает, что было два Пушкина: живой Пушкин, реальный, и идеальный, „создаваемый его гением“. „Но эти два Пушкина,— пишет Анненков,— не всегда составляли одно и то же лицо, и это еще

¹⁾ Русск. Архив, 1911, I, 648.

раз заставляет нас упомянуть о промахе биографов, подменивающих настоящую реальную жизнь поэта лучезарными абрисами, какими она светится в его сочинениях“. 1) Гоголь пишет: „При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого.. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом?“ 2) Н. М. Смирнов (муж А. О. Россет-Смирновой), говоря о годах ссыльной жизни Пушкина в Михайловеком, рассказывает: „В эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных песен, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния“. 3) И Баратынский пишет, имея в виду Пушкина:

Когда поэта красота
Своей улыбкой оживила,
Не думай, чтоб любви мечта
Его глаза одушевила;
Нет, это был сей легкой сон,
Сей тонкой сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви, для вдохновенья.

(Новинское.)

Как видим, с разных сторон, с разных точек зрения, но все, знавшие Пушкина, сходятся в том, что нельзя смотреть на его поэтические произведения, как на непосредственный биографический материал.

Попробуем же проследить на художественных произведениях Пушкина, насколько точно и адекватно отражались в них его подлинные настроения и чув-

1) Пушкин в Александровскую эпоху, 1874, стр. 211.

2) „Выбр. места из переписки с друзьями,“ письмо XXXI.

3) Русск. Арх., 1882, II, 231.

ства, подлинное жизнеотношение, подлинные лица и факты действительной жизни.

Для полноты начнем с юношеского, лицейского периода жизни Пушкина. И тут опять мы сейчас же наталкиваемся на протестующее свидетельство исследователя, близкого к пушкинской поре. Свою известную работу „Пушкин в лицее“¹⁾ В. П. Гаевский (сам лицеист) начинает так: „Несколько вдохновенных стихов Пушкина изображают такими поэтическими и трогательными чертами лицейский его быт, что он представляется воображению не иначе, как подчиняясь их неотразимому влиянию, которое заметно почти во всем, что писано о лицее. Воспоминания прошлого, для которых действительность была только исходною точкою, пройдя через воображение поэта, воплотились в самые художественные образы. Но напрасно стали бы мы искать в них точного изображения жизни... Между тем, поэтический колорит, приданный Пушкиным времени и быту, отразился почти на всем, что имеет предметом их воспроизведение. Этот колорит во многом расходится с действительностью“.

Так — относительно общего колорита. Во многом расходятся с действительностью и передаваемые юношею Пушкиным в его стихах настроения и факты его жизни. Здесь художник еще не нашел себя, поет с чужого голоса, подгоняет факты своей жизни и свои настроения под общепринятый поэтический шаблон и всего менее склонен описывать свою жизнь сообразно с действительностью. В стих. „Городок“ пятнадцатилетний Пушкин, три года уже безвыездно живший в Царском Селе, в своей лицейской комнате № 14, рассказывает, будто бы „два года все кружился“ в Петер-

1) Современник, 1863, № 7, стр. 230.

бурге, „зевая, веселился в театре, на пирах“,— а теперь переехал в маленький городок,— „нанял светлый дом — с диваном, камельком,— три комнатки простые...“ и т. д. В послании к сестре (1814) Пушкин описывает обстановку своей лицейской комнаты: „стул ветхий, необитый и шаткая постель, сосуд, водой налитый, соломенна свирель“... Между тем обстановка комнат лицейских воспитанников была очень хорошая. „Мебель,— пишет историк Царскосельского лицея И. Селезнев,— была изготовлена вновь; она состояла: на каждого воспитанника из классного стола (конторки), комода и железной полированной с медными украшениями кровати, обтянутой парусиной. На ней был один матрац с бумазейным одеялом“ и т. д.¹⁾

В послании к Юдину Пушкин пишет:

Не лучше ли в деревне дальней
Вдали столиц, забот и грома
Укрыться в мирном уголке?
О, если бы когда-нибудь
Сбылись поэта сновиденья!
Ужель отрад уединенья
Ему вкушать не суждено?

(1815 г.)

В послании к В. Л. Пушкину (1817 г.) поэт славит „уединенье и свободу“, в 1818 г., вслед за Арно, воспевает блаженство „уединения“ и т. д.

Но в то время Пушкин в действительности вовсе не любил уединения. В 1814 г., в стих. „Mon portrait“ он пишет: „Je haïs la solitude“. В 1816 г. он пишет кн. П. А. Вяземскому: „Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, на зло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы влюблены

¹⁾ Исторический очерк Имп. лицея, СПб. 1861, стр. 175.

в безмолвие и тишину“. В отрывочной записи 19 ноября 1824 г. Пушкин вспоминает, как по выходе из лица приехал в Михайловское, и как скоро оно ему надоело. „Я любил,— пишет он,— и доньше люблю шум и толпу“.

В приведенном сейчас письме к Вяземскому Пушкин подсмеивается над поэтами (и собою в их числе), притворно воспевающими уединение, к которому в действительности они совершенно равнодушны. И в дальнейшем, не раз и не два, и в шутивной, и в серьезной форме, Пушкин усиленно подчеркивает это несовпадение реальной личности поэта и реальных его переживаний с переживаниями, выражаемыми в его творчестве.

Угодник Бахуса, я трезвый меж друзьями,
Бывало, пел вино водяными стихами, —

говорит он в послании к А. А. Шишкову. И пел он его не раз. Если судить по лицейским стихам Пушкина, пуншечные чаши, пенистые стаканы, вино золотое—все это были вещи, весьма обычные для лицеистов. Между тем, как пишет В. П. Гаевский, «пирушки, описанные Пушкиным, кроме разве одной, рассказанной в „Записках“ Пуштина, и из-за которой переполошилось все начальство, происходили только в воображении поэта“. ¹⁾

Переходим к Пушкину уже созревшему.

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росой холодной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадной!
Журчи, журчи свою мне быль...

¹⁾ Современник, 1863, № 8, стр. 353.

Так описывает Пушкин свое посещение фонтана Бахчисарайского дворца. А вот как описывает он это же посещение в письме к Дельвигу (в дек. 1824 г.): „Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевет“.

В то же время, перед этим же фонтаном, Пушкин пережил поэтические и грустные воспоминания о своей таинственной неудачной любви.

Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось... *Но не тем*
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью.
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волнению,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!
Чью тень, о други, видел я?..

Так рассказывает Пушкин в поэме своей „Бахчисарайский фонтан“. А вот как рассказывает он о переживаниях своих перед фонтаном в выше-цитированном письме к Дельвигу: „В Бахчисарай приехал я больной... NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище;

...но не тем
В то время сердце полно было:

михорадка меня мучила“. С отмеченною уже насмешкою над несовпадением поэзии с действительностью, Пушкин намеренно цитирует свой стих, в котором рассказывал о переживаниях своих в ханском дворце, но

теперь, вместо летучей тени поэтической девы, вдруг— „лихорадка меня `мучила“. Там, дескать, была поэзия а правда— вот она. Но, может быть, это просто озорство, поклеп, который взводит на себя Пушкин, старанье скрыть перед друзьями настоящие свои переживания уверением, что это была лишь поэтическая выдумка? Нет, Пушкин в то время, действительно, был болен лихорадкой. А. И. Тургенев пишет кн. П. А. Вяземскому 3 ноября 1820 г.: „Баранов, симферопольский губернатор, уведомляет нас, что Пушкин-поэт был у него с Раевским, и что он отправил его в лихорадке в Бессарабию“¹⁾. Лихорадка, видимо, была очень тяжелая,—после нее Пушкину пришлось сбрить волосы на голове. В. П. Горчаков, увидевший его в Кишиневе в начале ноября 1820 г., сообщает, что Пушкин ходил в феске, так как вынужден был после горячки брить себе голову²⁾.

В 1822 году Пушкин начинает писать стихотворение „Таврида“. Сохранился его исчерканный черновик, дальше этого черновика Пушкин, повидимому, не пошел, но черновик живёт уже подлинною художественною жизнью. Стихотворение чрезвычайно характерно с интересующей нас точки зрения. Эпиграф: „Gieb meine Jugend mir zurück!“ И сейчас же дальше прозой: „Страсти мои утихают, тишина царит в душе моей,—ненависть, раскаяние, все исчезает,—любовь, одушевл..“ Вслед за этой прозаической программой идут стихотворные наброски на ту же тему:

Ты вновь со мною, наслажденье!
Спокойны чувства, ясен ум,

1) Остаф. Арх., II 99.

2) Выдержки из дневника,—«Москвитянин», 1850, № 2, стр. 178

В душе утихло мрачных дум
Однообразное волнение...

.
Везде мне слышен тайный глас
Давно затерянного счастья...

Стихотворение набросано в самый разгар „кишиневского“ периода жизни Пушкина, — самого бешеного периода его жизни, периода Sturm und Drang, когда именно в душе его совершенно не было тишины, когда в ней ключом бурлили страсти, ненависть, раскаяние. Из отдельных стихов черновика можно заключить, что Пушкин *представляет себе* исполненным то „Желание“, которое он год назад выразил в стихотворении „Кто видел край“. Тогда он спрашивал:

Увижу ль вновь, сквозь темные леса,
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса?
Утихнут ли волненья жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?

Теперь он пишет:

Холмы Тавриды, край прелестный,
Тебя я посещаю вновь...

Эпиграфом к стихотворению стоит: „Gieb meine Jugend mir zurück!“ К услугам Пушкина была волшебница, сильнее и могущественнее всех Мефистофелей, — его Муза. Она только повела своим волшебным жезлом, и молодость воротилась, и вот поэт уже опять в Тавриде, утихли волнения бурной жизни, воскресла краса минувших лет, в душе желанная тишина... Но все это только обманные чарования Музы, и больше ничего. Верующий в автобиографичность Пушкина, опираясь на разбираемое стихотворение, скажет, нисколько не

сомневаясь: „но и в бурный кишиневский период Пушкин переживал полосы умиротворенного настроения, когда страсти его утихали, тишина царила в душе и т. д.“. Мы, думающие, что художественное произведение поэта есть нечто гораздо более сложное, чем его дневник, скажем: „А не свидетельствует ли это стихотворение как раз о том, что Пушкин в то время захлебывался в захлестывавших его страстях, что никакой тишины ни на минуту не было в его душе, что именно поэтому ему приходилось силою творческого воображения вырывать себя из окружающей обстановки, переноситься в благословенную Тавриду и там сладостно переживать чувства тишины, бесстрастия, душевной ясности, всего того, на что и намек не было в его подлинных жизненных переживаниях?“

В июле 1825 г. Пушкиным написано знаменитое стихотворение к А. П. Керн: „Я помню чудное мгновенье“. В 1819 г. Пушкин встретился с г-жею Керн в Петербурге у Олениных. Вторично он увиделся с нею в Тригорском, в 1825 году. В стихотворении своем Пушкин вспоминает, как при первом знакомстве г-жа Керн явилась перед ним подобно гению чистой красоты, как он долго носил в душе милый ее образ, как постепенно забыл его и стал жить без божества, без вдохновенья. Теперь он опять увидел ее,— и в сердце воскресли вновь

И божество и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Жутко подумать, сколько остроумнейших и глубокомысленнейших исследований было бы написано на тему об облагораживающем влиянии г-жи Керн на творчество Пушкина, сколько следов этого влияния найдено было бы в разнообразнейших произведениях

Пушкина, если бы на счет этого стихотворения до нас не дошло ничего, кроме вышесказанного. Но мы имеем письма Пушкина к г-же Керн, имеем воспоминания самой г-жи Керн, имеем дневник Алексея Вульфа. Мы доподлинно знаем, что увлечение Пушкина г-жею Керн носило чисто чувственный характер, — может быть, наиболее страстно-чувственный характер из всех нам известных увлечений Пушкина. И до встречи с нею в Тригорском, в письмах к ее сожителю Родзянке, Пушкин отзывался о г-же Керн весьма игриво, и после встречи писал ей письма самого домогательно-страстного характера, и в письмах к друзьям называл ее „вавилонскою блудницею“. Если требовать от поэта биографической правды его поэтических признаний, то нужно сказать, что Пушкин в данном случае поступал весьма бессовестно и пытался надуть своих будущих биографов самым бесцеремонным образом. Но требовать этого от поэта мы не имеем никакого права: был какой-нибудь один короткий миг, когда пикантная, легко доступная барынька вдруг была воспринята душою поэта, как гений чистой красоты, и поэт художественно оправдан, и совершенно бесплодным делом будут заниматься биографы, пытаясь выяснить, где именно и когда воскрешала г-жа Керн в сердце Пушкина божество, жизнь и вдохновение.

Осенью 1825 года ссыльный Пушкин посетил своего лицейского товарища кн. А. М. Горчакова (будущего канцлера), приехавшего из-за границы в Псковскую губернию погостить к своему дядюшке. Впечатление свое от этой встречи Пушкин передал в письме своем к кн. Вяземскому: „Мы встретились и расстались довольно холодно,—по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох, впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-

таки лучше“. Об этой же встрече в стихотворении своем „19 ноября“ (того же 1825 года) Пушкин вспоминает так:

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе, — фортуны блеск холодной
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись;
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Московский митрополит Филарет написал стихотворное возражение на стихи Пушкина „Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?“ В плохих стишках Филарет поучал Пушкина, что не напрасно и не случайно жизнь его осуждена на казнь, что сам Пушкин испортил ее страстями и сомнениями, что нужно ему вспомнить о боге. Кн. Вяземский писал А. И. Тургеневу: „Пушкин был задран стихами его преосвященства, который пародировал или, точнее, палинодировал стихи Пушкина о жизни“¹⁾. Лично к Филарету Пушкин питал очень мало уважения. В дневнике своем он два раза упоминает о нём,—один раз с насмешкою (1834 г., среда на св. неделе), другой раз—с резким осуждением (февраль 1835 г., по поводу доноса его на протоиерея Павского). И вот, в ответе своем на вышеупомянутые стишки Филарета, Пушкин уверяет, что, слушая обличения Филарета, он лил потоки слез неожиданных, что душа его была потрясена до глубины,

Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

1) Остаф. Архив, III, 192.

В то же время стихотворение так вдохновенно, так искренно и сильно, что в нем никак нельзя видеть светски-расчетливого комплимента духовному сановнику, с которым выгодно быть в добрых отношениях. Пушкин берет конкретный жизненный факт, *воображает себе*, как бы отозвался на него, если бы он, Пушкин, действительно устыдился своего отношения к жизни и холодноватой веры в бога, если бы на месте сухого Филарета был, действительно, какой-нибудь почтенный, святой старец,— и вот уже совершенно искренно Пушкин „льет потоки слез неожиданных“, и в корявых стихах митрополита улавливает отзвук арфы серафима. Вспоминаются слова Чарского импровизатору в „Египетских ночах“: „Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно...“

В „Путешествии в Арзрум“ Пушкин рассказывает, как посетил в степях калмыцкую кибитку, как разговаривал в ней с молодой калмычкой. „Калмычка подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже... *Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи*“. О той же калмычке Пушкин в стихах говорит так:

Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, на зло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей...

и т. д.

Характерно, что и то, и другое опубликовано было Пушкиным при жизни. Значит, он не боялся показать, что чувства, переживаемые им в поэзии, совершенно не совпадают с чувствами, переживаемыми в прозе.

Пушкин не любил Петербурга. Уже в 1820 г. он писал кн. Вяземскому: „Петербург душен для поэта“. В 1829 г. он пишет Дельвигу: „В Петербурге тоска, тоска...“ В 1831 г. Плетневу: „Москва мне слишком надоела. Ты скажешь, что и Петербург малым чем лучше, но я, — как Артур Потоцкий, которому предлагали рыбу удить: я предпочитаю скучать иначе“. В 1834 г. жене: „ПБГ ужасно скучен“. И про этот же Петербург — восторженно-влюбленные строки в „Медном Всаднике“, исчерпывающе рисующие своеобразную, пленительную красоту столицы: „Люблю тебя, Петра творенье...“ И безупречной красоте и силе этих стихов несколько не вредит то, что описание это, представляет поэтическую полемику с Мицкевичем, по пунктам возражающую на враждебно-отрицательное описание Петербурга, данное Мицкевичем в его сатирах „Предместья столицы“ и „Петербург“¹⁾.

25 сент. 1835 г. Пушкин писал жене из деревни: „В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую *досадно* мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уж не пляшу“. Известно, как описывает он впечатление от этих же трех сосен в стихотворении своем „Опять на родине“...

¹⁾ См. анализ проф. И. Третьяка. Пушкин и его современники, вып. VII, 102 и сл.

...По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою
Увидел их опять; они все те же.
Но около корней их устарелых,
Где некогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленою семьей кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый *холостяк*, и вокруг него
Попрежнему все пусто.

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий, поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук...

и т. д.

Итак, первоначальное, так сказать, биографическое впечатление от молодой сосновой поросли: „*досадно* мне смотреть на нее“. Это эгоистическое, темное, как руда, живое впечатление в огне творчества переплавляется в светлое, как золото, примиренное благословение старости идущей ей на смену молодой жизни. Интересно отметить, как это вторичное, художественно-претворенное настроение в свою очередь претворяет живые настроения Пушкина. Через месяц после написания этого стихотворения Пушкин пишет Плетневу: „Мое семейство умножается, растет, шумит около меня... Холостяку на свете скучно: ему *досадно* видеть новые, молодые поколения, один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую“. Употреблено даже то самое выражение „досадно“, которым Пушкин характеризовал собственное свое отношение к молодой жизни, хотя сам не был холостяком.

На основании выше приведенных примеров нельзя, конечно, утверждать, что в стихах Пушкина, особенно лирических, нет ничего автобиографического. Автобиографичность ряда стихотворений подтверждается более или менее бесспорными данными, напр., элегии „Редет облаков летучая гряда“, „Ты и вы“, „Поедем, я готов“ и др. Но приведенные примеры заставляют нас относиться к поэтическим признаниям Пушкина с величайшею осторожностью: если у нас нет данных, подтверждающих автобиографичность этих признаний, то мы не имеем никакого права строить на них какие-либо биографические выводы. Например: из элегии „Ненастный день потух“ вытекает, что южная возлюбленная Пушкина предавала его устам плечи, влажные уста и белоснежные перси. Доходило ли до этого у них, или это была только фантазия поэта? Пока мы не получим подтверждающих или опровергающих данных, мы можем сказать только одно: не знаем. Или вот. В 1826 году Пушкин написал стихотворение „Зимняя дорога“.

... Завтра, Нина,
Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь, не наглядясь.
Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

В конце 1826 года Пушкин ездил „зимнею дорогою“ в Москву, в Москве сильно увлекался С. Ф. Пушкиною. Для Б. Л. Модзалевского этого достаточно, чтобы высказать предположение, что под Ниною следует раз-
умень Софью Пушкину. Однако у Пушкина поэтическое отображение увлечения данною женщиною далеко не

всегда хронологически совпадало с самим этим увлечением. В 1829 году Пушкин увлекался Гончаровою, а в отрывке „На холмах Грузии“ имеет в виду, повидимому, Марию Волконскую-Раевскую. В 1830 г., женихом той же Гончаровой, страстно воспеваает какую-то умершую свою возлюбленную,—Амалию Ризнич или другую (см. выше мою статью: „К психологии пушкинского творчества“). Но согласимся с Б. Л. Модзалевским, что Нина, это — Софья Пушкина. В таком случае позвольте нам опять сделать и соответственные выводы. Б. Л. Модзалевский пишет: „Поэт мечтает о свидании с любимой девушкой, к которой едет и которую завтра увидит в кругу „докучных“ (для него) поклонников; *он надеется поговорить с нею наедине, когда раз'едутся гости*“¹⁾. Во первых, совершенно невозможно себе представить, чтобы при тогдашних нравах молодая девушка позволила себе остаться наедине с ухаживающим за нею мужчиною за полночь, после ухода других гостей. А во вторых,—и это самое главное,—всякий, кто без предубеждения прочтет стихотворение, скажет, что, когда полночь удалит докучных, поэт собирается остаться с Ниною вовсе не для разговоров, и, значит, мы должны сделать вывод, что Пушкин был в самых интимных отношениях со своею однофамилицею. Зная из других источников о характере этих отношений, мы, конечно, такого вывода не сделаем. А тогда—для чего это вкочлачивание поэтических произведений в биографические рамки, где достоверным мы можем признать только то, что было достоверно для нас и ранее?

¹⁾ „В. П. Зубков и его записки“. Пушкин и его современники, IV, 106.

Автобиографичность Пушкина весьма сомнительна не только в области минутных переживаний и мелких жизненных происшествий. Она столь же сомнительна и в гораздо более широкой области,—в области отношения к существеннейшим вопросам морали и религии.

Молодые стихотворения Пушкина полны самых сладострастных описаний. Напомню из мелких стихотворений „Леду“ (1814 г.), „Фавна и пастушку“ (1816) и мн. др., напомню ряд соблазнительных картин в „Руслане и Людмиле“, „Гаврилиаде“, „Бахчисарайском фонтане“. Пушкин и сам ясно отдавал себе отчет в характере таких писаний. В „Разговоре книгопродавца с поэтом“ он говорит:

Мои слова, мои напевы
Коварной силой иногда
Смирять умели в сердце девы
Волнение страха и стыда.

После 1823 года, когда был написан „Бахчисарайский фонтан“, в Пушкине как будто происходит в этом отношении какой-то глубокий переворот. Он не только перестает, пользуясь его же выражением, „превращать божественный нектар поэзии в любострастный воспалительный состав“,—он становится в творчестве своем поразительно чистым и целомудренным. Ни одной, самой легкой фривольности. Он создает женский образ, полный такой высокой целомудренности и чистоты, как образ Татьяны. Он пишет такие удивительные вещи, как „Когда в объятия мои“ и особенно „Нет, я не дорожу мятежным наслаждением“, по поводу которых невольно приходит в голову: „как же чисто должен был чувствовать этот человек, чтобы суметь так подойти к такой рискованной геме!“ Даже когда Пушкин берется теперь за такие сюжеты, как сюжеты „Графа Нулина“ или „Домика в Коломне“, то выполняет он их без ма-

лейшей пикантности, без малейшей сальности. Можно себе представить, как использовали бы подобные сюжеты Боккачио или Мопассан! Все эти наблюдения должны привести нас к решительному выводу, что после 1823 года в душе Пушкина произошел в этом отношении переворот; веруя в автобиографичность Пушкина, можно использовать его „Пророка“, написанного в 1826 году,— там находим уже прямое указание на потрясающей силы переворот, происшедший будто бы в душе Пушкина.

И что же? Оказывается, коренным образом Пушкин изменился в этом отношении исключительно, как художник. В действительной жизни до конца своих дней он продолжал проявлять величайший цинизм, поражающий не одного из его друзей. Алексей Вульф пишет в своем дневнике: „Молодую красавицу вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методе Мефистофеля (*Пушкина*), надо ее воображение занять сладострастными картинками; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, кто им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности“ ¹⁾. Это относится к середине двадцатых годов. Весною 1829 года С. Т. Аксаков пишет С. П. Шевыреву: „С неделю назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй — прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что Мицкевич два раза принужден был сказать: „Господа! Порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!“ ²⁾

¹⁾ Дневник А. Н. Вульфа. Пушкин и его современники, XXI—XXII, 141.

²⁾ Русск. Арх., 1878, II, 50.

А вот отзыв князя Павла Вяземского, относящийся уже к 1836 году, т.е. к последнему году жизни Пушкина. Вяземскому было тогда 16 лет. „В это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки, чтоб заставить женщин уважать вас. Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами, приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора“ ¹⁾. 10 сентября 1836 года баронесса Евпр. Н. Вревская (Зизи Вульф) писала брату своему Алексею Вульф про младшую их сестренку Машу, которой в то время едва исполнилось 16 лет: „6-го уехал от нас Ник. Игнатьевич (*некий Шениг*). Он заменил Пушкина в сердце Маши. Она целые три дня плакала об его отъезде и отдает ему такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: *Николай Игнатьевич никогда не воспользуется этим благоприятным положением, что о Пушкине никак нельзя сказать*“ ²⁾. Евпраксия Николаевна говорила это, повидимому, на основании собственного опыта: летучие намеки в дневнике Алексея Вульфа и в кое-каких воспоминаниях дают некоторое право заключить, что отношения между Евпраксией и Пушкиным были далеко не так невинны, как думают биографы, и что около 1828 г. на вопрос Зизи: „Что более вам нравится,— запах розы или резеды?“— Пушкин мог бы дать тот же цинично-озорной ответ, какой он за три года перед тем дал на этот вопрос старшей ее сестре Анне Николаевне (см. письмо Пушкина к Вяземскому от 10 авг. 1825 г.)

1) Кн. П. П. Вяземский. Собр. соч., 546.

2) Пушкин и его современники, XIX—XX, 108.

Многие исследователи, далее, отмечают развитие высоко-религиозного чувства в Пушкине в последние годы его жизни. Владимир Соловьев в известной статье своей „Судьба Пушкина“ говорит: „В Пушкине с наступлением зрелости возраста пробудилось и выяснилось религиозное сознание... Под конец жизни он пришел к положительным христианским убеждениям“ ¹⁾ Эти христианские убеждения, по мнению Вл. Соловьева, настолько были сильны в Пушкине, что убийство им на дуэли Дантеса было бы для Пушкина «жизненной катастрофой», и после этой катастрофы Пушкин мог бы жить только для дела личного спасения (II), а не для прежнего служения чистой поэзии. «Для Пушкина 1837 года, для автора «Пророка», убийство личного врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственной катастрофой, последствия которой не могли бы быть исправлены «между прочим», в свободное от литературных занятий время,— для восстановления духовного равновесия потребовалась бы вся жизнь» (стр. 52). Вот к каким результатам может привести вера в автобиографичность поэтических показаний Пушкина! Действительно, если мы поставим в ряд: «Пророка», «Галуба», «Странника», «Отцы-пустынники» и т. п., то в праве заключить о глубоко-религиозном строе души Пушкина в последнее десятилетие его жизни,— так все здесь заражающе-искренно, так волнующе-интимно,—все, вплоть даже до ответа митрополиту Филарету. В этом—несравненная и небывалая сила Пушкина, что в зрелых его произведениях нет ни единой фальшивой ноты, какие бы противоречивые чувства он ни излагал, какими бы, глядя со стороны, посторонними соображениями ни руководствовался при написании того или иного стихотворения,

¹⁾ Собр. соч., т. VIII, 40, 50.

вроде, напр.: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю...»

Но вышеприведенное мнение Соловьева, вполне приемлемое, когда мы читаем «христианские» стихотворения Пушкина, может вызвать только улыбку, когда мы себе представим живого Пушкина таким, каким мы его знаем по дошедшим до нас биографическим данным. Вот, напр., картинка. Русские войска обложили Эрзерум. Паскевич, верхом, окруженный штабом, следит за начинающейся бомбардировкой. Впереди стоит Пушкин. Первый выстрел из соседней батареи. Пушкин вскрикнул: «Славно!» Паскевич спросил: «Куда попало?» Пушкин живо обернулся к нему: «Прямо в город!»—«Гадко, а не славно»,—сказал Паскевич¹). Неприятельские батареи стояли перед городом, и обстреливать безоружный город не имело никакого смысла. Казалось бы, именно статскому, непривычному человеку естественнее всего было возмутиться, спросить,—для чего этот обстрел безоружного города, когда батареи стоят перед городом? И, однако, так ясно представляешь себе экспансивного, живущего мгновением Пушкина, который весь ушел в яркую картину артиллерийского боя и совершенно не думает о ненужных жертвах этого боя. Но, конечно, очень трудно представить себе, чтобы такие слова могли вырваться у поэта, который через два-три месяца после упомянутого происшествия писал, вспоминая монастырь на Казбеке:

Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!

¹) Э. В. Бриммер. Служба артиллерийского офицера,—Кавказский Сборник, т. XVI, 1895, стр. 83.

Был ли Пушкин в последние годы жизни глубоко верующим христианином, интересовали ли его вопросы религии жизненно, а не только художественно? Ставить такой вопрос по поводу Гоголя, напр., Достоевского или Льва Толстого просто смешно: их письма, дневники, воспоминания их друзей,—все в один голос свидетельствует о глубочайшем, жизненном их интересе к религии. У Пушкина вне его поэзии мы ничего такого не находим, Да, он верующий. Даже обрядно-верующий. В 1832 году И. А. Гончаров видел его в Москве у обедни,—и это было в то время, когда Пушкину еще нечего было бояться головной убор за непосещение обедни со стороны обер-камергера графа Литта. В письмах к жене Пушкин постоянно «крестит» и «благословляет» детей. Но это—холодная, обывательская, обрядовая вера, ни к чему не воспламеняющая и ничего не требующая. В 1834 году Пушкин пишет жене: «Благодарю тебя за то, что ты богу молишься, стоя на коленях посреди комнаты. *Я мало богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих как для меня, так и для нас*». Слова, для истинно-верующего прямо чудовищные: молитва для него есть прежде всего радостное, поднимающее дух общение с самым близким и самым высоким существом,—как же он сможет отказаться от этой радости под предлогом, что, дескать, молитва его жены для всех них «лучше», чем его собственная? Или вот еще,—тоже из письма Пушкина к жене: «Явился ко мне Соболевский с вопросом: где мы будем обедать? *Тут вспомнил я, что я хотел говеть, а между тем уж оскоромился. Делать нечего, решил я отобедать у Дюме*». И поехали к Дюме пить шампанское и пунш. Для верующего по-настоящему говение—акт слишком великий и серьезный, чтобы о нем возможно было нечаянно забыть. Характерно, между прочим, и то, что

как раз о той церкви, обряды которой Пушкин исполнял, он так отзывается в письме к Вяземскому: «греческая церковь остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа» (3 авг. 1831 г.). Так дело обстоит с обрядовой стороной. Более же глубокого подхода к религиозным вопросам мы ни в письмах, ни в дневниках Пушкина не находим. Не находим почти никаких указаний и в сколько-нибудь достоверных воспоминаниях. Даже автор «Записок А. О. Смирновой» (кто бы он ни был), бесцеремоннейшим образом фальсифицировавший Пушкина в угоду своим монархическим воззрениям, на этот счет высказывается несколько осторожно: «Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит»¹⁾. Столь же осторожно высказывается и Гоголь, защищая Пушкина от упреков в отсутствии у него христианства: «Пушкин разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не прониклась вся насквозь его душа»²⁾.

П. Н. Сакулин, в статье своей о Пушкине «Памятник нерукотворный»³⁾, находит, что в последние годы своей жизни Пушкин поднялся на «сионские высоты» духа и был проникнут «пименовским настроением». Высокие думы о жизни нахлынули на поэта, сердце исполнилось молитвенного умиления; и настроение это,—говорит П. Н. Сакулин,—не было мгновенным, а составляет одну из ценных сторон в сложной психологии поэта за последние годы его жизни. Интимную сторону своих религиозных переживаний Пушкин, по мнению П. Н. Сакулина, поведал нам в стихотворении «Отцы-пустынники». «Как Гоголь,

¹⁾ Записки, I, 91.

²⁾ Выбр. места из переписки с друзьями, XIV.

³⁾ Пушкин. Первый сборник Пушк. ком. при Общ. Люб. Росс. Сл., М. 1924.

хотя и в более слабой степени, Пушкин занят теперь своим «душевым делом».

Характерно, что для подтверждения своего мнения о «душевности» этого дела для Пушкина П. Н. Сакулин не приводит ни одного свидетельства пушкинских современников, от которых не могло же бы укрыться это высоко-религиозное настроение Пушкина. Он ссылается только на стихотворения Пушкина, тоже принимая как бы за аксиому, что человек в поэте переживает именно то и именно так, что и как рассказывает поэт. Кроме того, П. Н. Сакулин ссылается еще на печатные рецензии Пушкина—о сочинениях Сильвио Пеликко и Георгия Конисского, о «Словаре о святых». Здесь, однако, следует помнить, что это—журнальные статьи, предназначенные для печати, притом для собственного журнала, жестоко теснимого цензурой,—этим объясняется повышенно-елейный тон подобных статей. Вспомним, как еще в 1825 году писал Пушкин Вяземскому по поводу одной своей статьи: «тут есть одно Великодушие (*русского императора*), поставленное, во-первых, ради цензуры и, во-вторых, для вящего анонима (род онанизма журнального)». Да и в 1836 году уже, в статье о Радищеве, он пишет об «Алекサンドре, самодержце, умевшем уважать человечество»,—ненавистном ему Алекサンドре I, «властителе слабом и лукавом», «в лице и в жизни арлекине»¹⁾. Это во-первых. А во-вторых, что же проявляется в указанных рецензиях?

¹⁾ В первую очередь П. Н. Сакулин ссылается на рецензию Пушкина о „Словаре о святых“. Но это, повидимому, была просто приятельская рецензия. „Словарь о святых“ был издан анонимно, но составлен он был кн. Д. А. Эристовым и лицейским товарищем и приятелем Пушкина М. Л. Яковлевым (*см. Д. Ф. Кобеко. Императорский Царскосельский лицей.* СПб. 1911, стр.

Большой интерес к евангелию, интерес к «тем избранным, которых ангел господень приветствовал именем человеков благоволения» (Фома Кемпийский, Фенелон, Сильвио Пеликко), интерес к христианству. Да, так оно было у Пушкина и в действительной жизни. Но только с маленькой поправкою. Я приводил сообщение Павла Вяземского, относящееся к последнему году жизни Пушкина. Позволю себе привести его еще раз, но с некоторым продолжением: «Вообще в это время Пушкин как-будто систематически действовал на мое воображение, чтоб обратить мое внимание на прекрасный пол. Он поучал меня, что вся задача жизни заключается в том, чтоб обратить на себя внимание женщин, что нужно идти вперед нагло, без оглядки, и приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора... С другой стороны, Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами Священного писания и убедительно настаивал на чтении книг *Ветхого и Нового Завета*». (Нужно еще иметь в виду, что Пушкин говорил все это не товарищу своему, а шестнадцатилетнему мальчику, сыну одного из лучших своих друзей). Если бы подобное сообщение относилось к Достоевскому или В. Розанову, то мы в праве были бы увидеть здесь проявление своеобразного душевного цинизма, разрыв души между «идеалом содомским» и «идеалом Мадонны». Но у Пушкина тут можно видеть лишь одно: величайшее душевное легко-

347). До нас дошла записка Пушкина, в которой он напоминает Яковлеву о присылке ему словаря (*Переписка Пушкина, акад. изд.*, III, 410). В рецензии расхваливается даже типография, в которой отпечатана книга,—типография второго отделения собств. канцелярии е. имп. вел. Начальником этой типографии был Яковлев.

мыслие, полную безответственность одного момента жизни перед любым из других моментов, отсутствие основного регулирующего начала, хотя бы в какой-нибудь мере действующего на жизненные поступки человека. Метко оттенил это основное свойство души Пушкина лично знавший его А. С. Хомяков, говоря об отсутствии у Пушкина *басовых нот*; он писал И. С. Аксакову в 1859 году: «Вглядитесь во все беспристрастно, и вы почувствуете, что способности к басовым аккордам не доставало ни в голове Пушкина и ни в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения»¹).

За последние годы я просмотрел чуть не все, где-либо писанное о Пушкине, и мне удалось найти лишь одно единственное свидетельство, говорящее о *жизненно-религиозном* настроении Пушкина. Плетнев пишет Я. К. Гроту в 1842 г.: «Написать записки о моей жизни мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти. У него тогда было какое-то высоко-религиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни»²). Таких минутных настроений совершенно достаточно для создания религиозных стихотворений Пушкина. Вспомним, что сам Пушкин (в рецензии на стихотворения Делорма-Сент-Бева, 1831 г.) признаком истинного вдохновения считает «движение *минутного*, вольного чувства». Но таких минутных настроений слишком недостаточно, чтобы можно было признать Пушкина религиозным *в жизни*.

¹) Сочинения А. С. Хомякова, т. VIII, 382.

²) Переписка Грота с Плетневым, т. I, 495.

Валерий Брюсов в посмертной своей статье «Пушкин-мастер»¹⁾ пишет: «В конце жизни Пушкина занимала мысль сопоставить в большом художественном создании идеи язычества и христианства. К этой мысли он подходил в «Галубе» и в «Египетских ночах». Но, чтобы полнее усвоить себе оба мирозозерцания, античное и христианское, он писал ряд подготовительных этюдов. Античные этюды—общеизвестны и всегда признавались за таковые. По смерти Пушкина оказался в одном конверте ряд переводов из древних: из Афиняя, Анакреона, Ксенофана, Иона и др. Сюда же надо отнести подражания Катуллу, Горацию и прозаический отрывок, подражание Тациту, «Цезарь путешествовал». Иначе отнеслись исследователи к другому ряду этюдов, тех, в которых Пушкин «зарисовывал» разные черты христианского мирозозерцания. Таков перевод из Буньяна «Странник», такова (?) ода «Из VI Пиндемонте», затем— «Подражание итальянскому», «Молитва». В этих стихах хотели видеть проявление религиозности Пушкина, который будто бы в конце жизни стал «глубоко-верующим», мало того—«православно-верующим». Между тем, эти стихи не более говорят о христианстве Пушкина, чем переводы из Анакреона об его язычестве».

Вполне согласен с последним. Навряд ли только дело тут было просто в подготовительных этюдах. У Пушкина это было много сложнее. Любимое прозвание, которое ему давали и при жизни, и после смерти, было—Протей. Это был, действительно, Протей, постоянно менявший свой вид, наслаждавшийся художественным переживанием разнообразнейших, часто прямо противоположных настроений. А каков был

¹⁾ В указанном Сборнике Пушк. комиссии при Общ. Л. Р. Сл. «Пушкин», стр. 111.

настоящий, основной вид этого загадочнейшего художественного Протоя,—мы этого не знаем и до настоящего времени.

Можно, наконец, итти еще дальше. Можно бы указать, что самые основные черты характера Пушкина, как они отражены в его творчестве, совершенно не соответствуют подлинному характеру Пушкина. «Светлый, гармонический, жизнерадостный Пушкин»,—это стало уже постоянными паспортными приметам Пушкина. Веруя в автобиографичность Пушкина, профессор психиатрии В. Ф. Чиж написал даже, опираясь на данные пушкинского творчества, целое клиническое исследование под заглавием: «Пушкин, как идеал душевного здоровья»¹⁾. Между тем, в действительности характер Пушкина был раздражительный, «хандрливый», по его собственному выражению,—глубоко неуравновешенный и пессимистический. Но на этом я останавливаться не буду,—об этом нужно говорить много.



Ни в передаче частных переживаний и фактов своей жизни, ни в передаче основных своих настроений, ни даже в отражении в своем творчестве характера своего—Пушкин не автобиографичен; во всяком случае, менее автобиографичен, чем какой-либо другой поэт. Это совершенно противоречит первому, поверхностному впечатлению, какое читатель получает от Пушкина. Это он-то не автобиографичен! Что знаем мы из их стихов о жизни других наших поэтов,—Лермонтова, Тютчева, Фета, Некрасова? Вся жизнь Пушкина

¹⁾ Пушкинский сборник, изданный импер. Юрьевским университетом. Юрьев, 1899.

перед нами в его стихах, как на ладони. В Крыму ли он, в Кишиневе, в Одессе ли, в Михайловском,—мы это знаем из его стихов. Мы знаем Тригорское с его обитательницами, «и берег Сороти отлогий», и три сосны «на границе владений дедовских, на месте том, где в гору подымается дорога»; знаем, как свою, нянюшку Пушкина Арину Родионовну, знаем его друзей и возлюбленных. Сотню с лишним лет назад основано было в Царском Селе аристократическое учебное заведение,—какое нам до него дело, хотя бы даже в нем воспитывался Пушкин? А кто не знает из Пушкина даты лицейской годовщины—19 октября? Кто не знает его лицейских товарищей,—Дельвига, Пущина, Кюхельбекера и пр., и что знали бы мы о них без Пушкина?¹⁾

Все это вполне верно. Исходною точкою произведений Пушкина по большей части служат самые конкретные, самые индивидуальные факты его жизни,—настолько индивидуальные, что иногда, ничего о них

1) В прениях по поводу этого доклада, отстаивая автобиографичность Пушкина, М. О. Гершензон сделал ряд интересных указаний на автобиографические черточки в поэзии Пушкина. Напр., в XIX строфе четвертой главы „Онегина“ читаем:

...нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью повторенной...

Как может *светская* чернь повторять клеветы, рожденные на *чердаке*, при чем тут чердак? Вот при чем. В октябре 1822 г. Пушкин писал брату своему Льву: «Вся моя ссора с Толстым происходит от нескромности К. Шаховского». Очевидно, стихи имеют в виду известный «чердак» кн. А. А. Шаховского, где «американец» Федор Толстой пустил на Пушкина какую-то клевету. (Гершензон высказывает догадку,—не пустил ли Толстой слух, приводивший Пушкина в такое бешенство и даже заставлявший его задумываться о самоубийстве,—что Пушкин был

не зная из других источников, просто не можешь даже понять, в чем же дело. Но в дальнейшем мы никогда заранее не можем быть уверены,— оставил ли Пушкин в полной автобиографической неприкосновенности этот первоначальный, исходный факт, как в элегии „Редет облаков летучая гряда“ или в эпиграмме „Лук звенит, стрела трепещет“,—или же переиначил его так, что от первоначального факта осталась одна оболочка, в которую было вложено совершенно другое содержание, как напр., в ответе Пушкина митрополиту Филарету.

Очень в этом отношении характерно чрезвычайно загадочное стихотворение Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один». Кто-то великий и благостный долго беседовал с Гомером, потом со светлой своей высоты спустился в низменную и суетную жизнь, но в благости своей не проклял ее, любя одинаково и гром небес, и жужжание пчел. Исходная точка—исключительно-конкретный факт: кто-то долго имел дело

высечен в тайной канцелярии за свои вольные стихи? Во всяком случае, обида была ужасная, исключительная,— в ссылке своей Пушкин упражнялся в стрельбе из пистолета, готовясь к дуэли с Толстым, и по приезде в Москву немедленно послал секунданта к Толстому.)

М. О. Гершензон, как известно, отрицал серьезность отношений между Пушкиным и графиней Воронцовой. Стихотворение «Прозерпина» заставляет его усумниться в правильности его взгляда: не представляет ли и это стихотворение глубоко интимное, автобиографическое отображение любви Пушкина к графине Воронцовой? «Бледный Плутон»—бледный лицом граф Воронцов.

«Для меня,—заявил М. О. Гершензон,—настолько несомненно глубочайшая автобиографичность Пушкина до самых незначительных мелочей, что когда я, напр., в стихотворении к Гнедичу («С Гомером долго ты,..») читаю: «И светел ты сошел с таинственных вершин»,—у меня сейчас же встает вопрос: а в каком этаже Публичной Библиотеки помещалась квартира Гнедича?»

с Гомером. Но из этого Пушкин разворачивает картину, которую мы решительно не в состоянии истолковать сколько-нибудь удовлетворительно, пока во всех подробностях не узнаем факта, вызвавшего данное стихотворение. Как известно, Гоголь отнес это стихотворение к императору Николаю, и рассказал целую историю, как царь зачитался Гомером в переводе Гнедича и из-за этого запоздал на придворный бал. В. Ф. Саводник¹⁾ убедительно доказал, что рассказ Гоголя представляет чистейшую фантазию. Он думает, что стихотворение обращено к Гнедичу, переводчику Гомера. В. В. Каллаш²⁾ указал, что это знали уже Белинский, Плетнев и Шевырев. Н. Ф. Бельчиков, подробно исследовавший недавно черновики данного стихотворения, вполне присоединяется к мнению В. Ф. Саводника³⁾. Мы не считаем вопроса решенным и после тщательной работы Бельчикова, но допустим, что стихотворение, действительно, обращено к Гнедичу. Какой же реальный факт мог вызвать подобное обращение Пушкина к Гнедичу? Н. Ф. Бельчиков думает, что послание Пушкина является ответом на восторженные стихи, которыми Гнедич приветствовал появление пушкинских сказок: «Пушкин, Протей...» В черновиках стихотворения можно разобрать: «А ныне... склоняешь слух благосклонный... Приветствуешь *меня* с улыбкой благосклонной» (хотя, нужно заметить, как раз чтение густо зачеркнутого слова «меня» отнюдь не бесспорно). В том же черновике, вместо позднейшего: «и с детской легкостью меж тем летает он вослед Бовы иль Еруслана», было: «внимает... о подвиге»

1) Заметки о Пушкине, Русск. Арх., 1904, кн. II, 140—148.

2) Загадочное стихотворение Пушкина. Пушкин и его современники, XII, 48 и сл.

3) Пушкин и Гнедич в 1832 г. „Пушкин“, Сборник Пушк. комиссии при Общ. Люб. Росс. Сл., стр. 177—214.

гах царя Салтана»,—по мнению Бельчикова, «яркая, животрепещущая черта», подтверждающая его догадку. Но ведь царь Салтан вовсе не был выдуман Пушкиным и не составлял характерной особенности именно его сказки: «Царь-Султан» фигурирует уже в записи этой сказки, сделанной Пушкиным со слов няни Арины Родионовны¹⁾. В лубочном издании сказки о Бове встречаем Салтана²⁾. Притом в сказке Пушкина ни о каких *подвигах* царя-Салтана вовсе и не рассказывается. И почему имя Салтана более «ярко и животрепещуще», чем имена Бовы или Еруслана, тоже встречающиеся в сказках Пушкина? Начертание же «Еруслан», а не «Руслан» как раз указывает, что Пушкин вовсе не имел здесь в виду своих переработок народных сказок.

Как при таком толковании мы должны понять разбираемое стихотворение? Пушкин получил от Гнедича восторженное приветствие за свои переделки русских сказок и отвечает ему: «Ты долго занимался переводом Гомера, сошел со светлых вершин с оконченным своим переводом и нашел нас суетно пирующими и с буйною песнью скачущими вокруг нами созданного кумира. Но ты не отнесся к нам с презрением. Хотя сам ты занят возвышенными поэтическими темами, однако не осуждаешь нас за то, что мы занимаемся художественными пустячками».

Конечно, Пушкин писал плохой поэтессе кн. З. А. Волконской, посылая ей своих «Цыган»:

Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

1) См. П. Анненков. Материалы, 2 изд., стр. 430.

2) В. И. Чернышев, Имена действующих лиц в сказках Пушкина. Пушкин и его совр-ки, VI, 128.

Но Зинаида Волконская была хорошенькая женщина, а на этот счет Пушкин был слаб. Гнедич же не был ни хорошенькой женщиной, ни крупным сановником, подобно митрополиту Филарету. От почтительного отношения Пушкина к Гнедичу, какое замечается в ранних его письмах и посланиях, к тридцатым годам осталось очень мало. Гнедич показал себя далеко не бескорыстным во взятом им на себя издании пушкинского «Кавказского пленника». Был он человек напыщенный, самовлюбленный и фатоватый. Почти все отзывы о нем современников носят несколько иронический, а иногда резко-отрицательный характер. П. А. Катенин пишет А. М. Колосовой: «Шаховской—шут, Гнедич—плут»¹⁾. Еще когда Гнедич был студентом, товарищи прозвали его *ходульником*²⁾. И совершенно нельзя себе представить, как мог Пушкин с таким человеком говорить таким тоном, какой слышится в разбираемом стихотворении. Так мог бы, напр., писать Фофанов, обращаясь к Льву Толстому, или Надсон—к Достоевскому Но Пушкин—к Гнедичу! Какая нелепость! Что, дальше, значат такие слова Шевырева в его письме к Гоголю по поводу вышеуказанного толкования Гоголем нашего стихотворения: «Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому: *ты проклял нас?*»³⁾. А как мог Пушкин сказать Гнедичу «ты проклял нас»? Когда он проклинал, кого именно и за что? Что все это значит?

К Гнедичу ли обращено стихотворение или к кому другому,—во всяком случае, в основе его лежит какой-то совершенно конкретный факт, отгадывать который

1) Русск. Стар., 1893, т. 78, стр. 182.

2) С. П. Жихарев. Записки современника. М. 1890, стр. 158.

3) Отчет Импер. Публ. Библиотеки за 1893 г., прилож., стр. 43.

столь же бесплодно и безнадежно, как армянскую загадку. И пока мы этого факта не узнаем, мы не поймем и самого стихотворения. Процесс же его написания, если считать стихотворение обращенным к Гнедичу, мы можем мыслить только так. Между Гнедичем и Пушкиным произошло что-то, что побудило Пушкина написать послание к Гнедичу. Возможно, что первоначально цель послания была чисто комплиментарная. Но в процессе писания любезно приукрашенный образ Гнедича превратился в величественный образ поэта-пророка, полного благостного снисхождения к миру. Основа стихотворения, бесспорно, автобиографическая, даже исключительно-автобиографическая. Но делать из этого соответственные заключения о характере отношения Пушкина к Гнедичу—совершенно непозволительно.

Есть у Пушкина ряд других стихотворений, столь же загадочных вследствие чрезмерной своей автобиографичности. Например, «Воспоминание». Оно совершенно непонятно. Что это за два мстящие ангела, гонящие поэта мертвым языком о тайнах счастья и гроба? Смысл всего стихотворения, так фантастически толкуемого и до сих пор, как какая-то песнь покаяния, станет нам понятен только тогда, когда выяснится, кого разумел Пушкин под этими ангелами, и как эти лица действовали в жизни на душу Пушкина. Пока же мы этого не знаем, стихотворение представляет опять-таки форменную армянскую загадку, и попытки извлечь из него биографический материал осуждены на такое же бесплодие, как попытки без подсказки разгадать армянскую загадку.

Как видим, там, где Пушкин автобиографичен, не только нет возможности использовать эту автобиографичность в биографических целях, а как раз наоборот, нужно еще на стороне разыскивать биографические

данные, которые хоть сколько-нибудь понятными сделали бы для нас загадочные автобиографические намеки Пушкина.

Вот еще характерный пример. Осенью 1830 г., в Болдине, Пушкин написал, между прочим, следующее стихотворение:

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь вспоминать.
Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас;
Уж ты для страстного поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.
Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его.

В ту же осень 1830 г. Пушкиным написаны еще два стихотворения: „Заклинание“ и „Для берегов отчизны дальней“. Все эти три стихотворения, в которых поэт страстно взывает к какой-то умершей своей возлюбленной, исследователями об’единяются в одну трилогию, относимую—одними к Амалии Ризнич, другими—к другой какой-то возлюбленной. Вчитываясь в приведенное стихотворение, находим ряд странностей: „*И для тебя твой друг угас*“. Значит, эта мертвая возлюбленная каким-то образом для Пушкина жива. Она принимает прощание поэта „как друг, обнявший молча друга перед изгнанием *его*“. *Его*, а не *своим*. Не умершая изгоняется с земли, а поэт изгоняется из какого-то светлого мира в темную земную жизнь. Открывается простор для са-

мых широких обобщений, можно, напр., привлечь сюда стихотворение: „Люблю ваш сумрак неизвестный“, где Пушкин говорит о тенях умерших, поджидающих в Элизиуме живых своих друзей,

Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...

И что же оказывается? Маленькое биографическое открытие,—и нам приходится совершенно перестроить все свое понимание этого стихотворения. Б. В. Томашевский, исследуя списки заглавий, составленные Пушкиным для предполагавшегося сборника его стихов, открыл, что пьеса „В последний раз“ была Пушкиным озаглавлена в этом списке: „К Е. W.“, т.е. к графине Елизавете Воронцовой (*Б. Томашевский, Пушкин. Соврем. проблемы историко-литературного изучения*. Ленинград, 1925 г., стр. 115, 117). Воронцова во время написания стихотворения была жива, значит, „могильный сумрак“ отнесен вовсе не к умершей женщине, и все вышеприведенные толкования не имеют под собою никакой почвы. Мы уверены, что у Пушкина немало есть и еще стихотворений, понимание которых придется совершенно изменить, когда дознана будет биографическая их подкладка.

Резюмируем. Пушкин так часто является не автобиографичным,—и в передаче отдельных впечатлений, и в передаче основных своих настроений, и даже в выявлении настоящего своего характера и темперамента, что пользоваться его поэтическими признаниями для биографических целей можно только после тщательной их проверки имеющимися биографическими данными,

и лишь постольку, поскольку эти данные их подтверждают. Иначе говоря, пользоваться ими можно только в качестве иллюстраций, а никак не в качестве самостоятельного биографического материала. Распространенный обычай конструировать настроения и факты жизни Пушкина на основании поэтических его признаний должен быть признан недопустимым и совершенно ненаучным.

1925.

Пушкин и Евпраксия Вульф

В биографии Пушкина теплым и ярким солнечным пятном выделяется прославленное им Тригорское с его милыми обитательницами.

...вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и темными очами...

Молодость, веселый девичий смех, песни, музыка. Как живой, рисуется перед глазами Пушкин среди цветника этих девушек,—влюбленный во всех сразу и сам всеми обожаемый, сыплющий им направо и налево свои сверкающие стихи, полные легкого хмеля минутной влюбленности. «И влюблюсь до ноября...» Все так легко и бестрагично. И так светло, чисто и невинно. Совсем, как в «Евгении Онегине»,—в нем эта жизнь ведь и отражена. Ленский—жених Ольги; уже признанный жених.

Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят в потемках двое.
И что ж? Любовью упоенный,
В смятении нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.

Онегин объясняется с Татьяной и благородно предостерегает ее:

Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я поймет,
К беде неопытность ведет.

И даже непонятно как-то: к какой беде? «Обольстит» и бросит беременной? Ну, как здесь до этого может дойти!

В 1915 году в академическом издании «Пушкин и его современники» (вып. XXI—XXII) был опубликован дневник Алексея Вульфа, сына вледетельницы Тригорского, П. А. Осиповой. Знакомство с этим дневником производит прямо ошеломляющее впечатление,— в таком новом и неожиданном свете являются там любовные отношения молодежи в тогдашней «патриархальной» дворянско-помещичьей среде. Окончивши дерптский университет, Вульф в 1827 г. приезжает в Петербург. Там он знакомится с недавно приехавшею с отцом своим из провинции двоюродною своею сестрою Лизою Полторацкою, хорошенькою 20-летнею девушкою, и «решается избрать ее предметом своего первого волокитства». Вульфу удается совершенно покорить сердце девушки. «Я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представляются роскошному воображению, однако не касаясь девственности. Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить границу,—ибо она сама, кажется, желала быть совершенно моею и, вопреки моим уверениям, считала себя такою». В таких отношениях они прожили около года. У него—постоянные головные боли, которые он приписывает «густоте крови». Об ней он то и дело отмечает в дневнике: «Лиза нездо-

рова, грустна», «Лиза больна, у ней были нервические припадки». Он к ней очень быстро охладел и был весьма рад, когда осенью 1828 года отец увез ее в Тверскую губернию. Там Лиза встретилась с Сашею Осиповой,—падчерицею матери Алексея. Этой Саше Осиповой Пушкин написал свое стихотворение «Я вас люблю, хоть я бешусь». Оказывается, у Вульфа были с нею раньше совсем такие же отношения, как с Лизой Полторацкою. «Лиза,—записывает он,—знав, что я прежде волочился за Сашей, рассказала тотчас свою любовь ко мне и с такими подробностями, которые никто бы не должен знать, кроме нас двоих. Я воображаю, какво Саше было слушать повторение того же, что она со мною сама испытала. Она была так умна, что не отвечала подобною же откровенностью».

На святки Алексей Вульф приезжает в те же края. Не обращая внимания на двух прежних своих «любовниц», он начинает ухаживать за несколькими новыми красавицами (в том числе за Катенькою Вельяшевой, которой Пушкин посвятил стихи: «Под'езжая под Ижоры...»). «Я слегка волочился за ними,—рассказывает Вульф,—ибо ни одна из них не делала сильного впечатления на меня, может быть, оттого, что недавно еще пресыщенный этой приторной пищей желудок более не варил... Так как волочился я слегка, зевая, то и ничем не кончал». Через год он с сожалением вспоминает, что красавицы эти у него «прошли между пальцев». Для Алексея Вульфа серьезная, стоящая цель при ухаживании за барышней, это, говоря его словами,—«незаметно от *платонической* идеальности переходить до *эпикурейской* вещественности», оставляя при этом девушку «*добродетельною* (!!), как говорят обыкновенно». Курсивы и восклицательные знаки принадлежат здесь Вульфу. Вот что значит доводить дело

до конца, вот что значит ухаживать по-настоящему. Но нам тут интересен не Вульф. Интересна и ошеломляюще-неожиданна роль Пушкина в любовных предприятиях Вульфа, как она вырисовывается в этом же дневнике. Характер этой роли, странным образом, совершенно не обращает на себя внимания исследователей.

«В Крещение приехал к нам в Старицу Пушкин,— продолжает рассказывать Вульф.—С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, от чего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катенька Вельяшева), *несмотря ни на советы Мефистофеля*, ни на волокитство Фауста, осталась холодною; все старанья были напрасны» (стр. 50). Мы теперь знаем, что составляет цель этих стараний. Пушкин поощряет Вульфа, стыдит его, — «Дурно, дурно, брат Александр Андреич»¹⁾ (стр. 96). Предметом этих стараний Вульфа, поощряемых Пушкиным, является Катенька Вельяшева, 16-летняя двоюродная сестра Вульфа; незадолго до этого Пушкин писал ей:

Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.

Лишний, между прочим, пример отличия пушкинской Wahrheit от Dichtung.

1) Эх, Александр Андреич, дурно, брат!

Фамусов Чацкому. Горе от ума. (II, сц. 3).

Пушкин называл Вульфа «*filius meus in spirito* (сын мой в духе)». Раньше было непонятно, в каком смысле употреблял Пушкин эти слова в применении к Вульфу, — слишком он мало был похож на духовного сына Пушкина. Но Л. Н. Майков, например, и многие другие понимали это в самом серьезном смысле¹). После дневника Вульфа становится совершенно несомненным смысл пушкинских слов. Перед нами живьем вырисовывается этот уездный Фауст, а за его плечами — островзглядое, озорное лицо Мефистофеля, посвящающего его во все таинства («науки страсти нежной»). Через год, уже будучи гусарским офицером и стоя с эскадром в Польше, Вульф записывает одно из новых своих приключений. «Молодую красавицу трактира вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методе Мефистофеля (т. е. Пушкина), надо ее воображение занять сладострастными картинками; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, который им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности» (стр. 141). В другом месте своего дневника Вульф вспоминает, как он ухаживал еще за одною своею двоюродною сестрою, замужнею, Екатериною Ивановною Гладковой. «Приехав в конце 27 года в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, предпринял я сделать завоевание этой добродетельной красавицы. Кат. рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, так же, как бы и Пушкина... Я первые дни был застенчив с нею и волочил, как 16-летний юноша. Я никак не умел постепенно ее развращать, врать ей, раздражать ее чувственность» (87—88)

¹) Л. Майков, «Пушкин», стр. 166.

Вот что значит «сын мой в духе», вот в чем ученичество Вульфа. И свою роль Мефистофеля по отношению к Вульфу Пушкин проводит весьма последовательно и постоянно. Когда Лиза Полторацкая, с опоганенною душою и опоганенным телом, уехала в Тверскую губернию, а Алексей Вульф на свободе ухаживал в Петербурге за женою поэта Дельвига, Пушкин писал Вульфу из Тверской губернии: «Честь имею донести, что в здешней губернии, наполненной вашим воспоминанием, все обстоит благополучно. Меня приняли с достоюльным почитанием и благосклонностью. Утверждают, что вы *гораздо хуже меня* (в моральном отношении). И потому не смею надеяться на успехи, равные вашим. Требуемые от меня пояснения на счет вашего петербургского поведения дал я с откровенностью и простодушием, от чего и потекли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелательные восклицания, как, например: *какой мерзавец! какая скверная душа!* Но я притворился, что их не слышу» (27 окт. 1828 г.).

Чрезвычайно своеобразно отношение Алексея Вульфа к Пушкину. Пушкин все время говорит с ним его языком, в его стиле, поощряет его и благословляет на поступки, к которым Вульфа тянет и самого. Казалось бы, отношение к Пушкину должно быть самое дружелюбное,—такое же, как и Пушкина к нему. Между тем в отзывах Вульфа о Пушкине все время ощущается весьма ясная нота затаенной вражды и насмешки, как будто Пушкин причинил ему большой какой-то ущерб. 15 февраля 1830 года, уже в Польше, Вульф записывает: «Пушкин, величая меня именем Ловласа, сообщает мне известия очень смешные о старицких красавицах, доказывающие, что он не переменялся с летами и возвратился из Арзерума точно

таким, каким и туда поехал,—весьма циническим волокидою» (115). 28 июня 1830 года, получив известие о предстоящей женитьбе Пушкина на Гончаровой, он пишет: «Желаю ему быть щастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов,— это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся» (124). «Так строго судил поэта этот высоконравственный господин, собственные писания которого исключительны по своему цинизму», — замечает М. А. Цявловский в своем отзыве о дневнике Вульфа.¹⁾ — «Вульф оказался недостойным того счастья, какое ему выпало на долю, называться приятелем великого поэта» (283). И П. Е. Щеголев пишет: «Вульф в жизни остался достойным гнева и жалости эмпириком любви, а Пушкин, для которого любовь была гармонией, изведаль высший восторг небесной любви. Но Пушкин с стыдливой застенчивостью скрывал свои чувства от всех и—от Вульфа»²⁾. Все это, конечно, вполне верно. Да, Пушкин знал и восторг небесной любви, да, Алексей Вульф был недостойн Пушкина, да, он был человек чувственный и развратный. Под старость он в этом отношении совсем уж развернулся, завел у себя в деревне крепостной гарем и даже присвоил себе, по рассказам, «право первой ночи». И однако он способен был откликаться на жизнь и другими сторонами души. Он весь начинает светиться, когда вспоминает о своем университетском товарище Франциусе, пламенном энтузиасте. Уже позже, в 1833 г., узнав о его смерти, Вульф пишет: «Душевно сожалею, что

1) «Голос минувшего», 1916, № 2, стр. 285.

2) «Дуэль и смерть Пушкина», 2 изд., стр. 49.

судьба не свела меня еще раз с ним: он бы передал мне снова много прекрасных, возвышенных идей; его бы пламенем согрелась и моя хладеющая от ежедневного опыта грудь, я бы освежился духом». Он с неизменной любовью вспоминает о другом своем университетском товарище, поэте Языкове, с глубоким уважением всегда говорит о Дельвиге. А к Пушкину — эта скрытая вражда и насмешка. Одного ли Вульфа в этом вина?

Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях, — обычная поза биографов. Скучно и нецелесообразно. Он и без того, сравнительно с нами, большой, а мы еще опускаемся на колени, делаем себя еще меньше, еще менее способными что-нибудь видеть. По отношению к Пушкину это особенно вредно, потому что его все мы как-то особенно горячо полюбили, особенно всем он стал теперь нужен и незаменимо-дорог, и поэтому здесь особенно трудно удержать требуемую холодность. А между тем в сознании нашем уже оформился и застыл канонический образ личности Пушкина, — фальшивый и совершенно не соответствующий действительности. Светлый, гармонический и жизнерадостный «гуляка праздный», с простодушием гения, с благоволением к людям, детски-очаровательный в самом своем озорстве и шалостях. Пушкин был натура очень сложная и вовсе не годился в герои нравоучительного романа; повидимому, в душе его немало было упадочничества и даже разложения, зияли чернейшие провалы, много было и хаоса, и зверя. Чтобы понять его, нужно к нему подходить не с благоговейным трепетом поклонника, а с несмущающеюся смелостью исследователя.

Один ли Вульф был виновен в том, что он воспринимал Пушкина так, как его описывает, — или Пуш-

кин, действительно, поворачивался к нему именно этою своею стороною, и не вина была Вульфа, что он видел то, что видел? Пушкин не только в дневнике Вульфа говорит с ним почти исключительно о женщинах и любовных делишках. Почти об этом одном говорит он и в подлинных своих письмах к Вульфу (см., напр., письма от 7 мая 26 г., 27 окт. 28 г., 16 окт. 29 г.). А ведь Пушкин был на пять лет старше Вульфа, от него зависело давать тон их беседам, о Вульфе же сам он отзывался так: «Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял». Пушкина самого интересовали те дела, о которых он говорил и переписывался с Вульфом, — и именно в той как раз плоскости, как и Вульфа.— Повидимому, общий стиль обращения Пушкина с псковскими и тверскими барышнями был приблизительно такой же, как у Вульфа,— да на это прямо и указывает Вульф: он только ученик Пушкина, он только робко применяет к делу уроки опытного учителя. И заподозривать правдивость Вульфа решительно невозможно: дневник свой писал он только для себя и не думал, что он сможет попасть в печать.

Для нас все это слишком неожиданно, слишком трудно это принять в душу,— и однако это, повидимому, так. Только в таком свете становится понятным кое-что и в письмах Пушкина. Напр., совершенно новый, цинично-озорной смысл получает непонятное без того бон-мо, которым хвалится Пушкин в письме к цинику-Вяземскому: «Ради соли, вообрази, что это было сказано девушке лет 26:—Что более вам нравится? запах 'розы или резеды?— Запах селедки». Речь идет, очевидно, об Анне Николаевне Вульф, стар-

шей из тригорских барышень, которой в то время было как раз 26 лет, и отношения с которой у Пушкина были довольно близкие, — в одном из ее писем к нему встречается итальянская фраза: «*tì (подчеркнуто) mando un baccio, mio amore, mio delizie*» (посылаю тебе поцелуй, моя любовь, моя прелесть)¹). 10 сент. 1836 г. баронесса Ё. Н. Вревская писала брату своему Алексею Вульфу про младшую их сестренку, 16-летнюю Машу Осипову: «6-го уехал от нас Ник. Игн. (соседний помещик Шениг). Он заменил Пушкина в сердце Маши. Она целые три дня плакала об его от'езде и отдает ему такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: *Ник. Игн. никогда не воспользуется этим благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать*²).

Ясно из всего этого, что прозвище губернского «вампира», данное Пушкину в тверских дворянских гнездах, имело вовсе не такой уж невинный смысл. Владетельница Тригорского, П. А. Осипова, горячо (и, повидимому, не только дружески-горячо) любившая Пушкина, старается держать от него своих дочерей подальше, — и навряд ли из одной только ревности, как думала ее дочь Анна Н. Вульф (см. ее письмо к Пушкину, — *Переп. Пушкина*, I. 333). Алексей Вульф записывает в своем дневнике под 11—12 окт. 1828 г.: «Пушкин хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя сестры (Анны) и матери, а сестре и других ради причин это вредно». Он называет Пушкина «неотразимым», а баронесса Вревская, говоря об одной дальней их родственнице, Лизе Ермоловой, в особую заслугу ста-

1) Переп. Пушкина, акад. изд., I, 354.

2) «Пушкин и его современники», XIX—XX, 108.

вит ей, что Пушкин «не мог свести Лизу с ума, хоть и старался»¹⁾.

Евпраксия Николаевна (Зина, Зизи) Вульф — младшая из двух сестер Вульфа, дочерей П. А. Осиповой от первого ее брака. Она была почти на десять лет моложе Пушкина. Ей Пушкиным посвящены стихи: «Если жизнь тебя обманет» и «Вот, Зина, вам совет». Ее он имеет в виду в пятой главе «Онегина», говоря об узких, длинных рюмках,

Подобных талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!

Любители отыскивать прототипы художественных образов утверждают, что Евпраксия служила для Пушкина оригиналом, — одни говорят — Татьяны, другие — Ольги.

Каковы были отношения между Пушкиным и Зизи? М. Л. Гофман полагает, что это было „легкое увлечение, перешедшее в дружбу“²⁾. „Когда Пушкин приехал в Михайловское, — пишет он, — Евпраксии было пятнадцать лет, и веселый, резвый подросток порой развлекал его (выражение *увлекал* представляется нам неуместным и несоответствующим действительным отношениям Пушкина). „На-днях, — пишет Пушкин брату в октябре 1824 г., — мерялся поясом с Евпраксией, и талии наши нашлись одинаковы. Следственно из двух одно: или я имею талию 15-летней девушки, или она — талию 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила, с Анеткою

¹⁾ «Пушкин и его совр-ки», XXI—XXII, 431.

²⁾ „Пушкин и его совр-ки“, XXI—XXII, 413.

бранюсь; надоела!“ Тон,—продолжает Гофман,—которым Пушкин говорит об Евпраксии и об Анетке,—Анне Николаевне Вульф,—свидетельствует о разных отношениях Пушкина к ровеснице своей „Анетке“, которая уже „надоела“, и к „милому“ подростку. На глазах Пушкина Зизи выросла, и в 1826 году она превратилась уже в 16—17-летнюю девушку, считавшую, что „нравиться есть необходимость, чтобы провести приятно время“, и старавшуюся принимать участие в праздниках молодежи. Шутливо-влюбленные отношения установились между Пушкиным и Языковым с Зизи Вульф летом 1826 г., когда приехал в Тригорское Языков. Весело-беспечное дитя, Зизи участвовала в пирушках Пушкина, Языкова и Вульфа. Но дальше „чистого хмеля“ и веселых пирушек, дальше простых дружеских, шутливо-влюбленных мадригалов не шли отношения поэтов и Зизи. Вскоре Пушкин получил свободу, и как-то мгновенно расстроились, распались его отношения с Евпраксией Николаевной, с которой он и не переписывался. В 1828 году вышли IV и V главы „Онегина“ (где находится вышеприведенное обращение к Зизи), и Пушкин послал Евпраксии экземпляр с надписью: „твоя от твоих“. Осенью этого же года (а, может быть, и в январе 1829 г.) Пушкин увиделся с Евпраксией и, как Вульф писал в своем дневнике, „по разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем“. Но Пушкин недолго пробыл в Тригорском и уехал, а Евпраксия Николаевна продолжала подчиняться „необходимости нравиться“ и приятно проводить время. В 1831 году она вышла замуж за барона Б. А. Вревского» (*там же*, стр. 224—266).

М. Гофман думает, что отношения Пушкина и Евпраксии Вульф исчерпывались легким увлечением и шутливою влюбленностью. Но в таком случае совер-

шенно непонятно, как могла она попасть в „дон-жуанский список“ Пушкина. Пушкин сам говорит про себя: „Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых я знал“. Это же подтверждает в своих воспоминаниях и кн. М. Н. Волконская. Каким же длинным должен бы быть пушкинский дон-жуанский список, если бы Пушкин вносил в него все свои легкие увлечения! Список оказался бы не короче, чем у моцартовского Дон-Жуана: mille e tre! А в нем всего 34 имени. Притом, Евпраксия внесена в первый из списков, в котором всего 16 имен,— и имен женщин, которых Пушкин любил всего глубже и сильнее. Тут и Екатерина (Бакунина), и Амалия (Ризнич), и Элиза (гр. Воронцова), и Екатерина (Ушакова?), и Анна (Оленина?) и таинственная NN., и, наконец, Наталья (Гончарова), заключающая список. Ясно,— если в этот список Пушкин внес и „Евпраксею“, то его увлечение ею выходило далеко за пределы шутиливой влюбленности.

И мы имеем этому много подтверждений. Анненков сообщает, что, по слухам, Пушкин был неравнодушен к Евпраксии Николаевне¹⁾. Алексей Вульф говорил М. И. Семевскому, что Пушкин был „всегдашним и пламенным обожателем“ ее²⁾. Слухи о любви Пушкина к Евпраксии дошли даже до молодой жены поэта, и Анне Николаевне Вульф приходилось успокаивать ревнивую Наталью Николаевну. „Как вздумалось вам,— писала она ей в 1831 году,— ревновать мою сестру, дорогой друг мой? Если бы даже муж ваш действительно любил сестру, как вам угодно непременно думать,— настоящая минута не смывает ли все прошлое, которое теперь становится тению“ и т. д.³⁾ Любовь, несо-

1) „Пушкин в алек. эпоху“, 280.

2) „Спб. ведомости“, 1866, № 139. „Прогулка в Тригорское“.

3) Анненков, „Пушкин в алек. эпоху“, 280.

мненно, была, — и со стороны Евпраксии Николаевны, повидимому, еще более сильная, чем со стороны Пушкина; время ее—1828 и начало 1829 года. Ал. Вульф, как уже было указано, отмечает в своем дневнике: „По разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем“. В. Колосов в статье своей „Пушкин в Тверской губернии“¹⁾ приводит воспоминания старушки Сеницыной, дочери берновского священника. Сообщения ее получили неожиданное и весьма точное подтверждение в опубликованных значительно позже воспоминаниях Алексея Вульфа. Сеницына спутала только время. То, что она описывает, происходило не в 1827 г., как она говорит, а в начале 1829. Пушкин гостил в Бернове у одного из многочисленных в тех местах Вульфов, Павла Ивановича. „Когда пошли мы к обеду,—рассказывает Е. Е. Сеницына,—Пушкин предложил одну руку мне, а другую дочери Прасковьи Александровны, Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со мной. За столом он сел между нами и угощал с одинаковою ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди,—протанцует с ней, потом со мной, и т. д. Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то в этот день ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Ал. Серг-ч после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту; все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее,—она на него все глаза проглядела“. Наконец, сама Евпраксия, уже в сентябре 1837 г., после смерти Пушкина, писала своему брату, как об обстоятельстве, всем им известном: „Наш приятель (Пушкин) умел занять чувство у трех сестер“²⁾.

¹⁾ „Русск. Стар.“, 1888, т. 60, стр. 91.

²⁾ «Пушкин и его совр-ки», XXI—XXII, 413.

Здесь разуме́ла она, оче́видно, ста́ршую сво́ю сестру́ А́нну, себя́ и, повидимо́му, мла́дшую сестру́ Ма́шу Оси́пову.

М. Л. Гофман пишет: „С Евпраксией Николаевной Пушкин и не переписывался“. Повидимо́му, и это неверно. Переписка́ была, притом настолько интимная, что Евпраксия Николаевна завещала своей дочери уничтожить эту переписку. Л. П. Гроссман сообщает, что женщина-врач, лечившая дочь Евпраксии Николаевны, слышала от нее следующее: „Мать моя передала мне на хранение большую пачку писем к ней Пушкина. Она завещала мне хранить их при жизни, но ни в коем случае никогда и никому не передавать их. О существовании этих писем стало многим известно, и ко мне приезжали различные ученые, прося меня предоставить им эти старые письма великого поэта к давно умершей женщине. Должна сознаться, что эти лица были очень красноречивы и убедительны. Я чувствовала, что решение мое слабеет. И вот, чтоб не поддаться окончательно их уговорам и не нарушить воли матери, я предала всю пачку писем сожжению“.¹⁾

Все это в целом, кажется мне, должно нас убедить в том, что отношения между Пушкиным и Евпраксией Вульф были гораздо серьезнее „легкого увлечения“ и „шутливой влюбленности“. Другой вопрос,— каков был характер этих отношений. Многоликий Протей-Пушкин и в любви к женщинам был Протеем. Перед нами — то дерзкий и бесстыдный сатир, то застенчивый до смешного мальчик, то „рыцарь бедный“, пламенеющий чистою любовью к той, „кого назвать не смеет“. Какова же была его любовь к Евпраксии? В первой половине этой статьи освещен был общий характер отно-

¹⁾ Л. П. Гроссман. „Около Пушкина“. Библиотека „Огонек“, № 386, стр. 14.

шения Пушкина к барышням из псковских и тверских дворянских гнезд. Одно загадочное место в дневнике Вульфа, только в этом же освещении делающееся понятным, заставляет неуверенно догадываться, что Евпраксия в этом отношении не представляла исключения. В декабре 1828 г. Алексей Вульф, приехав из Петербурга в родное гнездо, увидел сестру свою Евпраксию. „Она,— пишет он,— страдала еще нервами и другими болезнями наших молодых девушек. В год, который я ее не видал, очень она переменялась. У ней видно было расслабление во всех движениях, которое ее почитатели называли бы прелестною томностью,—мне же это показалось похожим на положение Лизы (Полторацкой, см. начало этой статьи), на страдание от не совсем счастливой любви, в чем я, кажется, не ошибся“ (стр. 45).

Опытный в этих делах глаз Вульфа видит то, что отмечено было еще юношею-Пушкиным в стихотворении (впрочем, взятом у Парни):

Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый,
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей...
Твой бог неполною отрадой
Своих поклонников дарит...

Прав ли был Вульф в этих своих догадках, мы не знаем. Но вот что замечательно. Позднейшие отношения Пушкина с баронесою Вревскою были самые дружеские. Она отзывается о нем в письмах с большою приязнью, весьма волнуется по поводу его столкновения с графом Сологубом или истории с Дантесом. Однако, как только заходит речь об отношении Пушкина к женщинам, в тоне Евпраксии Николаевны начинает звучать та же затаенная насмешка и скрытая вражда, как и в дневнике ее брата, Алексея Вульфа.

В октябре 1835 г. она пишет брату: „Поэт по приезде сюда был очень весел, хохотал и прыгал попрежнему, но теперь, кажется, впал опять в хандру. Он ждал Сашеньку (Беклешову, урожденную Осипову, дочь второго мужа их матери от первого его брака) с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие мужа разогреет его состаревшие физические и моральные силы“¹⁾. Через год она писала брату о младшей их сестре, 16-летней Маше Осиповой (отзыв этот полностью приведен выше): „Маша отдает Николаю Игнатьевичу такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: Николай Игнатьевич никогда не воспользуется этим благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать“. Такие вещи и таким тоном может говорить только женщина, горько на своем собственном опыте познавшая с этой стороны любимого когда-то человека. И она-то, перечитывая „Онегина“, вероятно, не испытывала недоумения, к какой такой „беде“ ведет девичья неопытность.

1926

1) «Пушкин и его совр-ки», XIX—XX, 107.

Княгиня Нина

23 января 1829 года кн. П. А. Вяземский писал в Петербург Пушкину: „Мое почтение княгине Нине. Да смотри, непременно, а не то ты из ревности и не передашь“¹⁾).

Мы ничего не знаем об увлечении Пушкина женщиною с таким именем; имени „Нина“ мы не находим также ни в одном из „дон-жуанских списков“ Пушкина. Кто такая княгиня Нина? Ответа на это в пушкинской литературе не имеется.

За три-четыре месяца перед тем Пушкин писал Вяземскому: „Я пустился в свет. Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер,—но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники“²⁾). Из письма кн. Вяземского от 25 сент. 1828 г. узнаем, что Пушкин воспел эту даму в стихах, где сравнивает ее с „беззаконною кометою“³⁾). Это—известные стихи Пушкина „Портрет“, посвященные Аграфене Федоровне Закревской. О ней, значит, Пушкин в своем письме и говорит.

Эта же А. Ф. Закревская выведена Боратынским в его поэме „Бал“, вышедшей в 1828 году. Что здесь

1) Переп. Пушкина, акад. изд II, 86.

2) Переп. II, 74.

3) Переп. Пушкина, II, 78.

выведена именно Закревская, видно из письма Боратынского к его другу Н. В. Путяте: „В поэме ты узнаешь гельсингфорские впечатления. *Она* моя героиня» 1). В Гельсингфорсе Боратынский, как известно, сильно увлекался Закревскою. В поэме же „Бал“ Закревская выведена под именем *княгини Нины*.

Пушкин был в восторге от поэмы Боратынского; хорошо, конечно, знал ее и Вяземский. И ясно, что в письме своем под княгинею Ниною Вяземский разумеет Закревскую.

„С своей пылающей душой, с своими бурными страстями“,—А. Ф. Закревская яркою беззаконною кометою проносилась в 20-х годах по небосклону чинного и лицемерно-добродетельного „большого света“. Все стихи, проза и письма как Пушкина, так и Боратынского, рисуют ее дерзко презирающею мнение света, бешено-сладоострастною и порочною, внушающею прямо страх заразительною силою сатанинской своей страстности. Пушкин: „Таи, таи свои мечты: боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты!“ И Боратынский: „Страшишь прелестницы опасной, не подходи: обведена волшебным очерком она; кругом нее заразы страстной исполнен воздух“... И еще вот как Боратынский: „Кого в свой дом она манит,— не записных ли волокит, не новичков ли миловидных? Не утомлен ли слух людей молвой побед ее бесстыдных и соблазнительных связей? Но как влекла к себе всеильно ее живая красота!“

Живьем встает образ Клеопатры, как ее представлял себе Пушкин и как воплотил в „Египетских Ночах“.

Ну, и вот: Онегин, возвратясь из своих странствий, встречает в Петербурге на великосветском балу Татьяну.

1) Полн. собр. соч. Е. А. Боратынского, акад. изд., 1915, т. II, 245.

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы:
И еерно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

Если искать за персонажами Пушкина живых прототипов,— занятие, по-моему, в общем достаточно бесплодное,— то, конечно, естественнее всего в этой *Нине* Воронской, *Клеопатре Невы*, видеть именно Закревскую. „Мраморная краса“ ее великолепно видна на портрете, приложенном к брокгаузовскому изданию Пушкина (II, 493).

В черновиках к „Онегину“ находим изображение ослепительного выхода Нины в бальную залу в соблазнительном костюме, вполне подходящем к Клеопатре и — к Закревской:

Смотрите,—в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненьи перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах...

У Пушкина есть набросок начала прозаической повести: „Гости с'езжались на дачу“. Набросок обычно относят к 1831—1832 гг., но П. Е. Щеголев, по положению наброска в черновых рукописях, доказал, что он написан в 1828 г. ¹⁾ В наброске этом под именем эксцентрической

1) „Пушкин и его современники“, XIV, 190.

красавицы Зинаиды Вольской выведена та же Закревская которую именно в 1828 году увлекался Пушкин. Щеголев отмечает любопытные совпадения в отзывах Пушкина о Закревской и Минского в указанном отрывке—о Зинаиде Вольской. Пушкин пишет Вяземскому о Закревской: „Она утешительно смешна и мила... Она произвела меня в свои сводники“. Минский отвечает о Зинаиде Вольской: „Я просто ее наперсник или что вам угодно. Но я люблю ее от души: она уморительно смешна“.

Мне несколько раз приходилось высказываться против попыток привлекать художественные произведения Пушкина в качестве непосредственного биографического материала. Следует, однако, указать, что некоторые прозаические произведения Пушкина, в отличие от стихотворных, носят столь непосредственно-автобиографический характер, что отрицать его совершенно невозможно. Таков образ великосветского поэта Чарского в „Египетских Ночах“; таков прозаический отрывок, яко бы перевод с французского: „Участь моя решена: я женюсь“. Таков, по всем данным, и рассматриваемый отрывок: „Гости с’ежались на дачу“. Пользоваться и этими произведениями в качестве автобиографического материала можно, разумеется, лишь с крайнею осторожностью, делать прямые из них выводы биографического характера нельзя. Но в них нередко можно найти намек, вдруг вкладывающий нам в руки конец путеводной нити к разрешению того или другого вопроса в биографии Пушкина. Такой конец нити находим мы и в разбираемом отрывке.

Минский получает записку от Зинаиды Вольской. „Самолюбие Минского было тронуто; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных послед-

ствий, лишнюю женщину в списке ветренных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, *если бы он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался бы от своего торжества*, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию“. В одном из недавно найденных писем Пушкина к Ел. Мих. Хитрово Пушкин пишет: „Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки,—это и гораздо короче, и гораздо удобнее... Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. п. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я ее и люблю всем сердцем. Этого более, чем достаточно для моих забот и моего темперамента“¹⁾. За „болезненность“ Закревской говорят все имеющиеся данные,—она, повидимому, была форменной истеричкой. Резкая смена настроений, чисто детская озорная шаловливость, „судорожное веселие“ (*Н. В. Путьята*).

Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь...

(Боратынский).

Все выше развитые соображения, мне кажется, с большою вероятностью говорят за то, что в письме своем к Е. М. Хитрово Пушкин имеет в виду именно Закревскую, и что его отношения с нею некоторое время были весьма близкими.

В связи с этим некоторую долю вероятия получает и то, что сообщает о Закревской ее племянница М. Ф. Каменская²⁾. Она рассказывает, что, по словам ее тетуш-

1) Письма Пушкина к Хитрово. 1927, стр. 33.

2) „Воспоминания“, „Истор. Вестн.“ 1894, т. 58, стр. 54.

ки, Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и к каждому. „Еще недавно в гостях у Соловых он, ревнуя ее за то, что она занимается с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь“. Только навряд ли, конечно, это могло происходить в последние дни жизни Пушкина, как уверяет М. Ф. Каменская. Увлечение Пушкина Закревскою следует относить к лету и осени 1828 года.

1926.

Пушкин и польза искусства

„Пророк“ Пушкина:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился;
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон;
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешной мой язык,
И празднословной, и лукавой,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угля, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
„Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
„Исполнишь волею моей
„И, обходя моря и земли,
„Глаголом жги сердца людей.“

Глаголом жги сердца людей... Что это за глаголы? Каков должен быть их характер, каково содержание? Не странно ли? Пушкин подробно, даже излишне-подробно описывает все операции, которым ангел подвергает пророка, и как-будто забывает хоть одним словом сообщить,—какого же рода должны быть слова, которыми бог поручает пророку жечь сердца людей.

У Лермонтова тоже есть стихотворение „Пророк“,— оно служит как бы продолжением пушкинского „Пророка“, и во всех хрестоматиях лермонтовское стихотворение обыкновенно и помещается вслед за пушкинским. У Лермонтова все совершенно ясно.

С тех пор, как вещей судия
Мне дал всеведение пророка,
В сердцах людей читаю я
Страницы злости и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья...

Бог — судия; всеведение пророка выражается в умении его прозревать нравственную природу человека; содержание глаголов — „чистые ученья любви и правды“. Понимание пушкинского „Пророка“ так дальше и пошло по пути, закрепленному Лермонтовым. Проф. Д. Н. Овсяннико-Куликовский, напр., говорит: „Глаголы пророка—это глаголы *обличительной проповеди*“¹⁾. Проф. Н. Ф. Сумцов: „Пророк наделяется несокрушимой общественной волей, для которой *в делах любви и просвещения* нет предела и нет преград“²⁾. И так почти все.

Но обратимся к самому стихотворению Пушкина, попробуем прочесть его просто, забыв наше ранее

¹⁾ Соч. IV, 138.

²⁾ Этюды о Пушкине. Вып. I. Варшава, 1893. Стр. 91.

составленное о нем представление. Во всех изменениях, которые происходят в избраннике под действием операций ангела, мы нигде не находим указания на моральный элемент.

Моих зениц коснулся он:
Отверзлись *вещие* зеницы.

Вещие, т.-е. ведающие, з н а ю щ и е.

Моих ушей коснулся он,—
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Сверхестественно утончившийся слух воспринимает такие звуки, которых обыкновенному человеку слышать не дано. Но опять тут дело в познании.

Он вырвал грешной мой язык,
И празднословной, и лукавой...

Ну, тут уж, казалось бы, выступает как раз моральный элемент: говорится о грехе, празднословии, лукавстве... В соответственном месте у Исаии читаем (*Книга пророка Исаии*, VI, 5—7):

И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек *с нечистыми устами*, — и глаза мои видели царя, господа Саваофа.

Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника,

и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и *беззаконие* твое удалено от тебя, и *грех* твой очищен.

Здесь все вполне ясно: удалено „беззаконие“, очищен „грех“. А посмотрим, что дальше у Пушкина:

И жало *мудрыя змеи*
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Языку пророка даруется только мудрость, т.-е. высшее понимание, а вовсе не нравственное очищение, не освобождение от беззакония. В связи с этим и первые два стиха получают соответственное освещение: истинная мудрость, само собою понятно, не может грешить ни празднословием, ни лукавством. Но речь-то только о мудрости.

Дальше — пылающий уголь, вложенный в грудь. Образ слишком общий, вкладывать можно какое угодно понимание.

Где же во всем этом хоть намек на „чистые ученья любви и правды“, на „дела любви и просвещения“, на требования „обличительной проповеди“? Картина вполне ясная: бог дает своему избраннику нечеловеческую, сверхестественную способность совершенно по-особому видеть, слышать, т.-е. *воспринимать и познавать* мир,— и способность совершенно по-особому *сообщать людям это свое знание*, — с мудростью змеи и с пламенностью пылающего угля.

Но какой же это в таком случае пророк? Пророк — это глас бога, призывающий людей обязательно к *действию*, — к покаянию, к практическому обнаружению себя в области нравственной или даже общественно-политической. Таковы были Моисей, Исаия, Иеремия, Магомет. Если Пушкин, действительно, имел в виду изобразить пророка, то приходится признать, что он совершенно не справился с задачей, упустив в своем образе характернейшую особенность пророка, — *действенность*, призыв к деланию, к активному обнаружению себя.

Но, конечно, Пушкин вовсе и не имел в виду просто дать в этом стихотворении образ библейского про-

рока. Пушкин выразил в стихотворении свое интимное, сокровенное понимание существа *поэтического творчества*. Пушкинский пророк — это поэт, как его понимает Пушкин. И стихотворение точно, до мелочей, совпадает со всем строем взглядов Пушкина на существо поэзии и призвание поэта.

Духовной жаждою томим, поэт бредет в жизни, как в мрачной пустыне,

И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,—

и происходит полное перерождение, полное преобразование поэта. Он по-новому видит и слышит, по-новому воспринимает жизнь; лукавый и празднословный в жизни, он становится нечеловечески мудрым, и сердце в груди превращается в жарко пылающий уголь. Наблюдая процесс пушкинского творчества, мы находим, что для Пушкина вдохновение не есть только внезапно пробудившаяся способность высказать то, что есть в душе; вдохновение, это — какое-то своеобразное перерождение самой души, способность совершенно по-новому воспринять и перечувствовать впечатления, однажды уже полученные и почувствованные в жизни. Это — основное свойство пушкинского творчества.

И бога глас ко мне возвал...

Глас того единственно-истинного бога, которому Пушкин никогда не изменял, к которому всегда относился с подлинным религиозным трепетом. Этот бог — вдохновение, творчество. Когда Пушкин начинает о нем говорить, у него все время выражения: „*святая лира*“, „*божественный глагол*“, „*признак бога*—вдохно-

вень". В „Египетских Ночах“: „Но уже импровизатор чувствовал *приближение бога*“.

И бог этот говорит поэту: виждь, внемли и исполнись моею волею, — державною волею творчества, отрешившегося от всех житейских соображений, „немотствующего“ перед земными кумирами. „Служенье муз не терпит суеты“. „Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум“. И так далее. То требование верховной, неограниченной свободы, которое Пушкин не уставал пред'являть для поэта.

Глупец кричит: „Куда? куда?
Дорога здесь!“ — Но ты не слышишь,
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные...

Это не только право, это — обязанность поэта, и эту-то обязанность налагает на пророка-поэта его бог: „исполнись волею моею“.

А дальше — самое непонятное и загадочное:

Глаголом жги сердца людей!

Что это значит? Что значит — „глаголом жечь сердца людей“? Ну, ясно: это значит — словами воспламенять сердца людей. Когда оратор или проповедник потрясает и воспламеняет сердца своих слушателей, то говорят, что он глаголом жжет сердца людей.

Но разве *жечь* — значит *воспламенять*?

Я проделал такой опыт: поэтов, беллетристов, публицистов и вообще людей, любящих русскую речь и вдумывающихся в нее, я просил ответить на такой вопрос:

— Что это значит: „своими словами вы мне жжете сердце“?

Точно употреблено пушкинское выражение, но по возможности замаскировано, чтобы не вспомнились

пушкинский стих и зашаблоненное в нем понимание слова „жечь“. У некоторых из опрошенных, тем не менее, явилась реминисценция пушкинского стиха, и они ответили: „это значит — глаголом жечь сердца людей“. Такие ответы, конечно, не имели никакой ценности. Все же остальные ответы, без единого исключения, были приблизительно такого рода: „*Своими словами вы мне жжете сердце*, это значит: своими словами вы мне *обжигаете* сердце, *мучаете* его, доставляете острое, как ожог, *страдание*“. Это вполне понятно. На свежее восприятие иначе и невозможно понять пушкинские слова. Совсем в этом же, указанном нами, смысле сам Пушкин употребляет их и в другом случае. В черновиках к „Борису Годунову“ читаем:

Как ласки их мне радостны бывали,
Как живо *жгли мне сердце* их обиды!

Жгли, — т.-е. мучили, обжигали страданием.

Но какой же в таком случае смысл в этом обращении бога к пророку? Он предлагает ему—*обжигать, мучить* сердца людей? Ну, да! Разве этим вносится что-нибудь новое в основное понимание Пушкиным существа поэзии и ее задач?

Нельзя требовать от поэзии какой бы то ни было пользы,—хотя бы самой возвышенной, хотя бы „жжения сердец“ „чистыми учениями любви и правды“, хотя бы „смелых уроков“ „любви к ближнему“.

И толковала чернь тупая:
Зачем так звучно он пдет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,

Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

И Сальери говорит о Моцарте:

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес к нам песен райских,
Чтоб, возбудив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь.
Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!

Итак, „глаголом жги сердца людей“, — да, это значит: волнуй, мучай людские сердца, как своенравный чародей, обжигай душу чад праха бескрылым желанием улететь с крепко держащей их земли.

В вопросах политических, общественных, религиозных Пушкин был неустойчив, колебался, в разные периоды был себе противоположен. Эти все вопросы слишком глубоко не задевали его. Но искусство—оно составляло саму душу Пушкина, им он жил, в нем для него был весь смысл его существования. И в основных вопросах искусства Пушкин не колебался, всегда был один и тот же. А самым основным вопросом для него был тут вопрос о державной самостоятельности искусства, о неслужебной его роли. Польза, даже самая возвышенная, представлялась Пушкину мелкой и ничтожной в сравнении с той огромной, сверкающей стихией, какую представляет из себя искусство. В 1825 году Пушкин писал Жуковскому: „Ты спрашиваешь, какая цель у „Цыганов“? Вот на! Цель поэзии — поэзия. Думы Рылеева и целят, а

все невпопад“. Через два-три года, в замечаниях на статью Вяземского об Озере, Пушкин писал: „Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело. Господи Исусе! Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве — их одна поэтическая сторона?“ И в 1831 году в рецензии на Делорма он заявлял: „Поэзия, по своему высшему, свободному свойству, не должна иметь никакой цели, кроме самой себя“. И в 1836 году („Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности“) он называет мелочною и ложною теорию, утвержденную старинными риториками, будто бы *польза* есть условие и цель изящной словесности.

Как с этим взглядом совместить пушкинского „Пророка“ в обычном его понимании? Со своей точки зрения Овсяннико-Куликовский был вполне прав, говоря: „Идея „Пророка“, поскольку она сводится к страстному желанию „глаголом жечь сердца людей“, именно „глаголом“ *обличительной проповеди*, представляется нам, так сказать, не „натуральною“, не „лично-пушкинскою“ идеею: это — идея „байроновская“, „лермонтовская“, „некрасовская“, но не „пушкинская“ (Соч., IV, 138). Ну, конечно же. Что в этой „идее“ пушкинского?

В свидетельство признания Пушкиным служебной роли искусства, кроме „Пророка“, приводят еще его „Памятник“. На одной стороне — „Пророк“ и „Памятник“, а на другой — весь Пушкин со всеми многочисленными его высказываниями и в стихах, и в прозаических статьях, и в письмах.

Рассмотрим еще „Памятник“.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Если бы спросить кого-нибудь незнающего: чье это стихотворение, кто из русских поэтов мог бы так говорить о себе? — то всякий бы ответил: Рылеев, Некрасов, Никитин, ну, — Надсон, П. Якубович. И уж самым последним назвал бы Пушкина, разве только раньше Фета.

Чувства добрые я лирой пробуждал.

Чрезвычайно затруднительно указать, где именно Пушкин пробуждает „добрые“ чувства. Существо его глубоко благородной поэзии вовсе не в специально-„добрых“ чувствах.

В мой жестокий век восславил я свободу

Это — в „Оде на вольность“ и в „Кинжале“? Но ведь какой же это крохотный и не полноценный осколок в огромном пушкинском творчестве!

И милость к падшим призывал.

Если вы очень хорошо знаете Пушкина, то с некоторым напряжением памяти вспомните: да, да! В „Стансах“ Пушкин призывал Николая I оказать милость декабристам:

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен;
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

И в этом Пушкин мог видеть существо своей поэзии, и в этом почитать свою заслугу!

Раньше четырехстишие это приводилось в качестве несомненного доказательства приверженности Пушкина к тем „великим заветам“, которые так характерны для русской литературы вообще. С. А. Венгеров, напр., писал: „Сердито говорит Пушкин в одном из своих

пишем: „цель поэзии — поэзия“. Но не говорит ли нам последний завет великого поэта, — его величественное стихотворение „Памятник“ — о чем-то совсем ином? Какой другой можно из него сделать вывод, как не тот, что основная задача поэзии — возбуждение „чувств добрых“? ¹⁾

Однако теперь приходится встречать все больше признаний, что в стихах этих нельзя видеть полной самооценки поэта. П. Н. Сакулин в известной своей обстоятельной работе о „Памятнике“ полагает, что разбираемая строфа говорит о значении поэзии Пушкина „в глазах прежде всего ближайшего потомства“ ²⁾. В прениях по поводу этого доклада Н. Л. Бродский отмечал, что „всего Пушкина мы тут не можем видеть. Пушкин неизмеримо шире и глубже того образа, который нарисован в „Памятнике“ (там же, 260). Остроумно замечает Н. К. Пиксанов: „Термины, которыми определяет Пушкин дело поэта, — какие-то *периферийные*, — „восславление свободы“ „милость к падшим“, „чувства добрые“, — это все можно отнести и на долю моралиста, политического деятеля, но это не является делом *поэта*“ (там же, 259).

Но если так, то ведь нужно из этого сделать какие-то выводы. Пушкин, в сознании своих заслуг, подводит итог всей своей поэтической работе, предъявляет, так сказать, свои права на бессмертие, — и указывает только на заслуги, за которые его будут ценить ближайшие потомки, на самые „периферийные“ заслуги, в которых его легко мог бы побить и Рылеев и Некрасов, и Никитин. Почему же он не говорит о том, в чем *сам* видит свои заслуги и существо своей

1) Соч. Пушкина, изд. Брокгауза-Ефрона, т. IV, 45

2) «Пушкин», сборник первый. Изд. Общ. Люб. Росс. Слов М. 1924, стр. 60.

поэзии? Не посмел? Однако он посмел сказать: „Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!“ Почему же тут он не может или не хочет дать себе полную и глубокую оценку? Говорят: Пушкин был связан традицией, формой горадиева и державинского „Памятника“. Но и Гораций, и Державин полно и исчерпывающе перечисляют в своих стихах заслуги, дающие им, по их мнению, право на бессмертие. Традиция несколько не мешала Пушкину сделать то же.

А затем — заключительная строфа „Памятника“:

Велению божию, о муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Поэт, в гордом сознании заслуг, говорит о своей посмертной славе в народе, и вдруг: „хвалу и клевету приемли равнодушно“. Причем тут клевета? О ней ведь и речи не было. Зачем было с гордостью говорить о своей будущей всенародной славе, если поэт хочет относиться к ней равнодушно? „Не оспаривай глупца“. В чем? Откуда вдруг этот глупец?

Загадочная, волнующая своею непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф.

Большую брешь в общепринятом понимании „Памятника“ пробил М. О. Гершензон в своей статье о „Памятнике“¹⁾. Он в ней указывает на разительное несоответствие последней строфы со смыслом всего стихотворения при обычном его толковании. И пишет дальше: В „Памятнике“ точно различены: 1) подлинная слава среди людей, понимающих поэзию, — а таковы

¹⁾ «Мудрость Пушкина», Кн-во Писателей в Москве, 1919.

преимущественно поэты: „И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит“; и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава, известность: „слух обо мне пройдет по всей Руси великой...“ В строфе „И долго буду тем любезен я народу“ Пушкин говорит не от своего лица, — напротив, он излагает чужое, — мнение о себе народа. Эта строфа — не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит себе. Пушкин говорит: „Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы! Она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно-ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы“... всю жизнь поэт слышал от толпы требования „сердца собратьев исправлять“ и всю жизнь отвергал его; но, едва он умолкнет, толпа объяснит его творчество по-своему... Я утверждаю, — продолжает Гершензон, — что лишь при таком понимании первых четырех стрóf становится понятной пятая, последняя строфа „Памятника“. Ее смысл — смирение перед обидой. Поэт как бы подавляет свой невольный вздох. Горька обида, — но таков роковой закон, — „божье веленье“. Хвала толпы и клевета ее — одной цены: обе равно ничтожны. И не силсья опровергать клевету, т. е. объяснить толпе ее ошибку. Пушкин в прежние годы не раз пытался „оспаривать глупца“ относительно подлинной ценности искусства, — теперь он признает эти попытки тщетными и ненужными“.

Во всем этом много верного, но чего-то окончательного нехватает. Очень натянутым кажется об'яс-

нение, что Пушкин предвидит два рода славы: подлинной—среди поэтов и „пошлой“— в народе.

Необходимо обратить внимание вот еще на какую странность. Стихотворение Пушкина по форме является подражанием горацеву „*exegi monumentum*“ и „Памятнику“ Державина,—особенно последнему. Державину Пушкин подражает неприкрыто, даже подчеркнуто. И у Пушкина, и у Державина — одинаковое количество строф, одинаковое количество строк в строфе. Первые три строфы начинаются у Пушкина совсем так, как у Державина. Державин: „*Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...*“ Пушкин: „*Я памятник себе воздвиг нерукотворный...*“ Державин: „*Так. Весь я не умру...*“ Пушкин: „*Нет, весь я не умру...*“ Державин: „*Слух пройдет обо мне...*“ У Пушкина в рукописи написано так же, а потом уже над „пройдет“ написана цифра 2, а над „обо мне“ — 1: „слух обо мне пройдет...“ Ясно, что Пушкин как бы все время имел перед глазами стихотворение Державина.

Почему? Какой в этом был смысл? Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящем итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его словами? Было бы еще понятно, если бы нечто в роде „Памятника“ написали, скажем, Шекспир, Гете или Байрон,—мировые гении, высоко ценившиеся Пушкиным. Говоря о себе их словами, Пушкин как бы ставил этим себя рядом с ними, на один с ними уровень. Но—Державин! Вспомним, как отзывался о нем Пушкин еще в 1825 году в письме к Дельвигу: „Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии,—ни даже о правилах стихосложения... Он не только не выдерживает *оды*, но не может выдержать и строфы...

Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника... Державин, современем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем. У Державина должно сохранить будет од восемь, да несколько отрывков, а прочие сжечь". Очень сомнительно, чтобы через одиннадцать лет мнение Пушкина об „этом чуде“ много изменилось в хорошую сторону. Бесспорно: в отличие от большинства новаторов в искусстве, Пушкин с уважением отзывался о своих литературных отцах и дедах; с большим уважением относился, в общем, и к Державину. Но очень трудно представить себе, чтобы Пушкин за такую уж большую честь считал для себя стоять в глазах потомства на одном уровне с Державиным.

Недавно мне довелось слышать „Памятник“ Пушкина в исполнении декламаторши Эльги Каминской. Эльга Каминская исполняет стихотворение так: первые четыре строфы она произносит повышенно-торжественным, слегка даже напыщенным, чуть-чуть насмешливым тоном; потом пауза; и потом — почти полушопотом, глубоко интимным, как бы к себе обращенным голосом:

Веленью божию, о, муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приеми равнодушно
И не оспаривай глупца.

Слушаешь, — и вдруг встает ошеломляющая мысль: да не *пародия* ли все это стихотворение? Прославленное стихотворение, в котором Пушкин, „в горделивом сознании своих заслуг“, дает себе должную оценку, отрывки из которого вырезаются на постаментах пушкинских памятников, — не пародия ли оно? Ясно

выраженная, неприкрытая пародия на „Памятник“ Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина.

Прочтите еще заключительную державинскую строфу и сравните ее с пушкинской. У Державина последняя строфа—совсем в том же тоне, как все стихотворение.

О, муза! Возгордись заслугой справедливой
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.

Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это умения нехватило: ни к селу, ни к городу припел и клевету, и равнодушие, и глупца какого-то... Совершенно ясно: в заключительной строфе Пушкин *противопоставляет* свое отношение к славе отношению державинскому. Так и видишь, как Пушкин перечитывает самохвальные державинские строфы, и как по губам его пробегает насмешка: „а что бы я написал, если бы захотел тоже *возгордиться заслугой*? Вот бы я что написал, вот бы какие заслуги приписал себе: чувства добрые пробуждал, восславил свободу и проч.“. И потом гаснет на губах насмешка, глаза становятся глубоко серьезными: неужели поэта может серьезно тешить какая-то посмертная слава? Неужели он не понимает, что обида и венец, хвала и клевета—равноправные спутники славы, что они взаимно уничтожают друг друга, что не для славы творит поэт, и что ему должно быть глубоко безразлично, что будет говорить о нем глупец?

Последняя строфа „Памятника“ во многих возбуждала и продолжает возбуждать недоумение. Некоторые откровенно сознаются, что просто не могут ее понять.

П. Н. Сакулин в вышеуказанной статье толкует ее так: „Поэт, оторвав взор от перспектив далекого будущего, обращается к своему настоящему и делает по отношению к нему мудрый вывод: спокойно творить, не обращая внимания на суд современников (48)... Перед лицом будущего малозначительным представляется настоящее с его тревогами и обидами. В конце концов венцы присуждают не современники, а потомки (54)... Во второй половине тридцатых годов Пушкин поднялся на сионские высоты духа и оттуда созерцал жизнь и людей (58)... „Памятник“— углубленная оценка творческой жизни *sub specie aeternitatis*. Отрешившись от минутных интересов дня, вещим взором прозревает поэт будущее. Он—пред вратами вечности. Лучи бессмертия уже коснулись его творческого чела“ (75).

Если не видеть,—по-моему, бьющего в глаза,—*контраста* между пятою строфою и первыми четырьмя, то единственным объяснением пятой строфы может быть объяснение, даваемое П. Н. Сакулиным. Но тогда совершенно непонятно, почему Пушкин, умеющий быть таким точным, не отметил в пятой строфе, что венца он не требует только от современников, и что только их хвалу он приемлет равнодушно. А главное,—какая же качественная разница между хвалою и клеветою современников и хвалою и клеветою потомства? Почему к первой славе Пушкин равнодушен, а ко второй неравнодушен? П. Н. Сакулин славу в потомстве рисует, как нечто очень величественное,—„врата вечности“, „луч бессмертия“. Почему она более величественна, чем слава прижизненная? Если „сионские высоты“, на которые в последние годы поднялся Пушкин, заключались в ожидании признания его поэтических заслуг со стороны потомства,—то право же, эта „высота“—очень небольшой высоты!

П. Н. Сакулин приводит выдержки из стихотворений Пушкина,—неслучайно все из отроческих и юношеских,—в которых поэт мечтает о славе в потомстве. Между прочим, один черновой набросок, относящийся к 1823 г.:

Быть может, этот стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть...
Eхegi monumentum я
Воздвигнул памятник.

„В этом наброске,—замечает П. Н. Сакулин,—содержится прямое указание на идею „Памятника“ (56).

Да, в молодые годы Пушкин мечтал о славе, он желал „печальный жребий свой прославить“. Но чем дальше, тем все выше и выше поднимался Пушкин на „сионские высоты духа“,—на высоты удивительного благородства, целомудренной простоты и глубокого равнодушия к славе. Вся жизнь его и все счастье были в творчестве. В поэтическое творчество он уходил от жизни, которой не умел творить, и в которой не умел жить. И этот творческий труд давал ему такое счастье, перед которым ненужной, суетной и смешной казалась всякая слава. В черновом наброске 1833 г. читатели обращаются к поэту, видимо повторяя его слова:

„Вы нас морочите,—вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она,—
Зачем же пишете?“ — Я? Для себя! — „За что же
Печатаете вы?“—Для денег.— „Ах, мой боже!
Как стыдно!“—Почему ж?...

И поэту Пушкин говорил:

Твой труд
Тебе награда. Им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты,

И еще говорил поэту:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе...

Вот те подлинные „сионские высоты духа“, на которые все выше с каждым годом уходил созревший Пушкин.

Пушкин любил тонкую, еле уловимую пародию, которую бы простодушный читатель принимал за вещь, написанную вполне серьезно. Такою несомненною пародией является „Подражание Данту“ („И дале мы пошли...“). Пародию же, повидимому, представляет и „Сцена из Фауста“. Хорошо по этому поводу говорит Вас. Вас. Розанов: „Все „уклоняющееся“ и „нарочное“ Пушкин как-то инстинктивно обходил; прошел легкою ирониею „нарочное“ даже в „*Фаусте*“ и в „*Аде*“ Данте, в столь мировых вещах. „Ну, к чему столько“, например, мрака и ужасов у флорентийского поэта? К чему эта задумчивость до чахотки у туманного немца:

И думал ты в такое время,
*Когда не думает никто*¹⁾.

Такими же „нарочными“, „уклоняющимися“ должны были казаться Пушкину и пышные самовосхваления Державина. И на его гордостный „Памятник“ он ответил тонкою пародией своего „Памятника“. А мы серьезнейшим образом видим тут какую-то „самооценку“ Пушкина.

1) В. В. Розанов. — Возврат к Пушкину. „Среди художников“. СПб, 1914, стр. 409.

Пушкин — один из самых непонятных поэтов. „Ясный“, „прозрачный“ Пушкин... Эта кажущаяся ясность обманывает и не вызывает повелительного стремления вдуматься, углубиться в такие на вид легкие, в действительности же только обманно-прозрачные стихи. А сам Пушкин говорил:

Стихи неясные мои...

И еще говорил про себя:

Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем...

Пушкин настойчиво,—и в стихах, и в письмах,—твердил, что пишет он для себя, а печатает для денег. И это, действительно, было так: писал он для себя, потому что в творчестве для него было высшее и единственное счастье. И ему совсем было неважно, как будет понимать его стихи публика. Он, повидимому, считал нужным доводить их лишь до той степени понятности, на которой они *для него самого*, для Пушкина, выражали то, то что он хотел выразить. А поймут ли его другие,—до этого ему было мало дела.

1927

„Стихи неясные мои“

Пушкин писал для себя и очень мало заботился о том, поймет ли его публика, и как поймет. Мне кажется, это необходимо всегда помнить при чтении Пушкина и читать его внимательнее, чем мы это обыкновенно делаем.

Как легко и поверхностно мы читаем Пушкина, показывает стихотворение его „Воспоминание“ („Когда для смертного умолкнет шумный день...“). Все дружно видят в этом стихотворении выражение какого-то раскаяния, каких-то угрызений совести, мучающих поэта. Разногласий на этот счет нет. Лев Толстой выделял „Воспоминание“ из всех остальных стихов Пушкина и отзывался о нем с неизменным умилением; со смущением и почти с мистическим страхом писал о нем Василий Розанов; Анненков по поводу этого стихотворения говорит о „муках и слезах раскаяния“; Гершензон—о „пламенных признаниях, где Пушкин дал волю своему стыду и своему раскаянию“; Щеголев называет стихотворение „покаянным псалмом“.

Вот в каком виде стихотворение было напечатано при жизни Пушкина:

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В таком виде стихотворение, действительно, как будто изображает раскаяние. Прямо даже сказано: «угрызения». А раз угрызения, то ясно, что угрызения совести. Но ведь у Пушкина только — угрызения «змеи сердечной», под этим нельзя еще обязательно разумеать совесть. Если вчитаться в стихи, то как-будто ряд неточностей: «Мечты кипят»; «Проклинаю и горько жалуюсь»; «Строк печальных не смываю», — печальных, а не позорных. Но, конечно, все это должно производить впечатление мелких придиорок. В общем ясно: поэт глубоко и горько раскаивается в том, как прожил жизнь.

В посмертных бумагах Пушкина нашлось окончание этого стихотворения. Оно было опубликовано еще Анненковым. И мне совершенно непонятно, как, зная все стихотворение, можно продолжать говорить, что в нем идет речь о каком-то моральном раскаянии.

Вот это окончание:

Я вижу в празднествах, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы!

Я слышу вновь друзей предательский привёт
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
И нет отрады мне—и тихо предо мной
Встают два призрака молодые,
Две тени милые—два данные судьбой
Мне ангела во дни былые!
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут. . и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах щастия и гроба.

В чем же, выходит, раскаивается Пушкин? В том, что он расточал время в праздности, в пирах, в безумстве свободы. Это понятно. Но дальше: поэт «раскаивается», что годы его утрачены были «в неволе, в бедности, в чужих степях». Это же не от Пушкина зависело. Как можно раскаиваться в своей бедности или неволе? «Друзей предательский привет», «сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды». Во всем этом поэт является лицом страдающим, и никакого тут места не может быть раскаянию. Если понимать стихотворение, как «покаянный псалом», то все оно представляется переполненным неточными и совершенно произвольными выражениями.

Совершенно ясно, что стихотворение нужно понимать не так. Пушкин здесь не раскаивается, что прожил свою жизнь неморально, а тяжко скорбит о том, как его жизнь прошла *неблагообразно*. При таком понимании каждое слово становится на свое место, становится вполне оправданным и необходимым. Да, «мечты кипят»,—мечты о том, как жизнь могла бы быть прекрасна. Да, «проклиная и горько жалуясь»,—жалуюсь на судьбу, наполнившую жизнь мраком и изменностью. И, конечно,—«строк печальных», а вовсе не позорных.

Стихотворение написано 19 мая 1828 года. Через неделю Пушкин пишет стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», полное совсем того же настроения:

Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

«Воспоминание», это—не восстание совести, не горькое покаяние человека, стыдящегося неморальной своей жизни; это—тоска олимпийского бога, изгнанного за какую-то вину на землю, томящегося в тяжелой и темной земной жизни. И все тут одинаково тяжело: и отсутствие собственной нравственной высоты,—праздность, неистовые пиры, разнузданность страстей; и нравственная низость кругом,—предательство друзей, неотразимые обиды холодного света; и внешние тяготы, так унижающие душу,—неволя, бедность, вынужденные скитания по чужим степям. «И нет отрады мне»...

Замечательно, что круг явлений, заставляющих Пушкина так глубоко страдать, был для него точно определенный: к нему же он опять возвращается воспоминанием в 1835 г., в стихотворении «Вновь я посетил»:

Я еще
Был молод, но уже судьба
Меня борьбой неравной истомила;
Я был ожесточен! В уныньи часто
Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях;
О строгости заслуженных упреков;
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной,—
И горькие кипели в сердце чувства.

Как видим, все совершенно то же самое, что и в разбираемом стихотворении: „о юности моей, утраченной в бесплодных испытаниях“—„в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы“; „о строгости заслуженных упреков“,—за годы, утраченные „в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы“; „о дружбе, заплатившей мне обидой“,— „друзей предательский привет“. „И горькие кипели в сердце чувства“,—конечно, не чувство раскаяния, а чувства обиды, сожаления, ожесточения. „Проклинаю и горько жалуюсь“.

Все стихотворение „Воспоминание“ носит глубоко интимный характер. Как-будто поэт вслух думает про себя, и мы с трудом улавливаем намеки на что-то нам неизвестное, и во что поэт несколько не заботится нас посвятить.

„И тихо предо мной встают два призрака молодые, две тени милые, два данные судьбой мне ангела во дни былые“. Кто это? Что это? Каким образом и за что они ему мстят? Что могут говорить мертвым языком о тайнах счастья и гроба? Да, о тайнах счастья. Раньше Пушкин написал: „о тайнах вечности и гроба“, но потом вместо „вечности“ поставил „щастия“.

Всего вероятнее предположить, как все комментаторы и делают, что поэт имеет в виду призраки двух когда-то ему милых женщин. Но и в таком случае в призраках этих трудно видеть каких-то укоряющих ангелов-хранителей, мстящих поэту за его нравственное падение. Ни в поэзии, ни в жизни Пушкина мы почти не видим, чтобы какая-нибудь женщина имела на Пушкина глубокое нравственное влияние, поднимала бы его выше, будила бы его совесть. А. П. Керн пишет; „Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его го-

раздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекали внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное“. Это наблюдение подтверждается и самой женитьбою Пушкина. Щеголев убедительно доказывает, что таинственною Н. Н., тою, которую Пушкин „не смел назвать“ и которую он любил глубокою, чистою любовью, была Мария Раевская, жена декабриста Волконского, женщина редкой нравственной красоты. Пушкин преклонялся перед ее подвигом (см. напр., его посвящение к „Полтаве“). Однако, при воспоминании и об ней, Пушкина больше волнует не ее нравственная красота:

Одна была,—пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где шум чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.
Ах, мысль о той душе завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить.

„Сны поэзии“,—вот что будит в нем воспоминание о любимой женщине. И к этому же, повидимому, имеют отношение и два мстящие ангела „Воспоминания“. В черновиках к стихотворению „Вновь я посетил“, из которого я уж приводил цитату, поэт, после приведенной цитаты, продолжает:

И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной...
Но здесь меня таинственным щитом
... святым прощеньем осенила
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня...

И тот же образ,—ангел...

Все это очень мало понятно. Но одно мне кажется совершенно несомненным: ни о каком „покаянии“ в разбираемом стихотворении не может быть и речи.

Понять же подлинный смысл загадочного этого стихотворения мы сможем лишь в том случае, если удастся отыскать или вскрыть биографическую его основу. Пушкин, повторяю, писал для себя и очень мало был озабочен, будем ли мы его понимать.

Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем...
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд
Тебе награда: им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

1927

В двух планах

(О творчестве Пушкина)

I

В „Невском альманахе“ на 1829 г. было помещено несколько картинок к шумевшему в то время „Евгению Онегину“. Одна картинка изображала Татьяну за письмом к Онегину. Дебелая девица с лицом коровницы сидит на стуле, в одной кисейно-прозрачной рубашке, спускающейся с плеча, и держит в руке кусок бумаги. Пушкин написал на эту картинку эпиграмму. Напечатать ее целиком не разрешила бы самая снисходительная цензура. Вот она с соответственными пропусками:

Пупок чернеет сквозь рубашку,
Наружу—милый вид!
Татьяна мнет в руке бумажку,
Зане—живот у ней болит.
Она поутру встала
При бледных месяца лучах
И на изорвала,
Конечно, „Невский альманах“.

Я не представляю себе человека, сколько-нибудь любящего Пушкина и его поэзию, который бы рассмеялся, прочитав эту эпиграмму. Как-ни-как, — тут задевается не только плохая картинка, но и сама Татьяна, —

один из самых прекрасных и целомудренных женских образов в нашей литературе. Это совсем то же, что для верующего, например, читать эпиграмму, где, по поводу плохого образа богоматери, в вульгарно-цинических выражениях описывались бы тело и разные интимные отправления богоматери.

Читаешь эту эпиграмму на Татьяну, и в негодовании хочется воскликнуть:

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля;
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери!

Но сейчас же приходит в голову: да ведь эпиграмму-то написал сам Пушкин,—создатель образа Татьяны! Что же это? Рафаэль с озорною улыбкою пририсовывает парикмахерские усы к прекраснейшей из своих мадонн, Данте на мотив похабной уличной песенки напевает суровые терцины вступления к „Аду“! И недоумевающая неловкость овладевает душой.

А потом еще соображаешь вот что: по какому случаю говорится у Пушкина о Рафаэле, Данте и презренных фиглярах? Вы помните? Моцарт шел к Сальери и, проходя мимо трактира, услышал, как слепой скрипач разыгрывает арию Моцарта. Потасил с собою старика к Сальери и приказывает ему сыграть что-нибудь из Моцарта. Старик играет, Моцарт хохочет. Сальери с негодованием спрашивает: „И ты смеяться можешь?“ А Моцарт ему: „Ах, Сальери! Ужель и сам ты не смеешься?“ Вот тут-то Сальери и говорит о негодных малярах и фиглярах презренных. Сейчас же вслед за этим Моцарт играет Сальери недавно сочиненную им пьесу. Сальери слушает пораженный.

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира

слушать скрипача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостойн сам себя!

Это, значит, не случайно было у Пушкина, он это рисует в Моцарте, как нечто, и для того характерное. Художник—„недостойн сам себя“; недостойн тех высоких произведений, которые он создает. В жизни он—один, в творчестве—совсем другой. Пушкин настойчиво и упорно отмечает эту характерную двойственность, отличающую поэта.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол...

И так далее. В „Египетских ночах“ Чарский посещает в трактирном номере итальянца-импровизатора. Сейчас этот итальянец—вдохновенный поэт с гордо поднятою головою, изумляющий и трогаящий. И сейчас же вслед за этим—мелкий торгаш, вызывающий отвращение своею дикою жадностью. И эпитафия к этой главе: „Я царь, я раб, я червь, я бог“.

Конечно, так уверенно утверждая это положение о двух ипостасях поэта, — жизненной и художественной,—Пушкин черпал его из собственного опыта. Действительно, его изучая, мы, как от очков с разными стеклами, все время видим какой-то двоящийся образ, от которого режет в глазах и ломит в висках.

Как слить в одно этот двойной образ?

Уот Уитмен говорит:

„В твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты зол или пошл, это не укроется ни от кого. Если ты любишь, чтоб во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник, или низменно смотришь на женщину, это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь“.

В общем это, несомненно, верно,—и верно, конечно, обо всяком художнике, не только о художнике слова. Его характер, темперамент, вся его внутренняя сущность полностью отражаются в его художественном творчестве. Папа Лев X, например, говорил об одном крупном художнике Возрождения: „я боюсь его, он ужасен, он нагоняет на людей страх, его совершенно нельзя выдержать!“ Нам совсем не нужно знать биографий художников того времени, нам достаточно быть знакомыми с их художественными произведениями, чтобы с полной уверенностью сказать: Лев X имеет здесь в виду не Ботичелли, не Рафаэля, не Леонардо-да-Винчи, а, конечно,—Микель-Анджело.

Достоевский в одном письме пишет о современном ему беллетристе: „джентльмен с душою чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого бог, будто на-смех, одарил блестящим талантом“. Не приходится гадать, кого тут имеет в виду Достоевский, не нужно знать ничьей биографии, чтобы, на основании одних лишь художественных произведений писателя, сказать с тою же уверенностью: речь идет, конечно, о Гончарове. Непосредственно из их произведений перед нами живьем встают и мягкий, безвольный, фатоватый Тур-

генов, и вечно резонерствующий, полный черноземной силищи Лев Толстой, и бледнолицый Достоевский с горящими глазами, с распадающеюся на части душою.

И совсем слова Уитмена неприложимы к Пушкину. Уже современники Пушкина отмечали это странное отсутствие его личности в художественных его произведениях. Гоголь писал в „Выбранных местах из переписки с друзьями“ (XXXI): „При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого... Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди, улови его характер, как человека!“

И правда. Кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот составил бы об его личности самое неправильное и фантастическое представление.

В поэзии Пушкина: какая гармоническая уравновешенность, какое отсутствие всякой бурности и страстности, какая просветленная, величавая „атараксия“!

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей.

Если бы мы заранее не знали жизни Пушкина, мы были бы изумлены, узнав, что в жизни это был человек, совершенно лишенный способности стать выше страсти, что страсти крутили и трепали его душу, как вихрь легкую соломинку. Непосредственного отражения этого бурного кипения страстей мы нигде не находим в поэзии Пушкина.

Последние полгода его жизни. Пушкин захлебывается в волнах непрерывного бешенства, злобы, ревности, отчаяния. Никаких не видно выходов, зверь задробен, и впереди только одно — замаскированное

самоубийство. И никакого отражения этого состояния мы не находим в поэзии Пушкина того времени. „Молитва“, „Когда за городом задумчив я брожу“, „Памятник“, „На статуи“, „19 октября 1836 г.“, „Пора, мой друг, пора“—все спокойные, величавые произведения, полные душевной тишины или светлой печали. Можно себе представить, как бы прорвалось душевное состояние, подобное пушкинскому, у поэта однопланного, у которого поэзия является непосредственным отражением его душевных переживаний,—например, у Байрона!

У Пушкина прямо поражает бьющее в глаза несоответствие между его жизненными переживаниями и отражениями их в его поэзии. [Какие настроения владела поэтом в такую-то эпоху его жизни? Казалось бы, чего проще? Изучить поэтические его произведения за эту эпоху,—и мы будем иметь полную картину его жизненных переживаний. Таким простым путем (к сожалению, и до сих пор многие пушкинисты ходят этим путем) мы никогда не придем к познанию подлинных переживаний и настроений Пушкина в жизни. Внимательные исследователи и наблюдатели постоянно отмечают это несоответствие жизненных и поэтических настроений Пушкина, эту его «двухпланность».

П. В. Анненков пишет о бешеном кишиневском периоде жизни Пушкина: «Если бы судить о Пушкине по изящным, чистым произведениям лирического характера, выданным им с 1821 по 1823 г., то никому бы не пришло в голову, что они написаны в самую бурную эпоху его жизни, в период пыла и порывов, «Sturm und Drang», какой немногие изживали на веку своем»¹⁾. Н. М. Смирнов сообщает о годах ссыльной

¹⁾ «Пушкин в Александровскую эпоху», 212,

жизни Пушкина в селе Михайловском: «В эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных произведений, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния»¹⁾).

Или вот—осень 1830 г. Пушкин, уже женихом Гончаровой, уехал в нижегородскую свою деревню Болдино для устройства имущественных своих дел. Думал пробыть месяц,—пробыл три; разразилась холера, карантин отрезали его от Москвы. Письма от невесты приходят неправильно, «дражайший» папаша сообщает сплетни, что она выходит за другого. Пушкин волнуется, мечется, три раза пытается прорваться в Москву, но неудачно. Эти три месяца вынужденного уединения были для Пушкина временем колоссальной художественной производительности. И во всех многочисленных этих произведениях—никакого отражения тех чувств, которые так напряженно и ярко кипят в его письмах того времени! Как будто и нет никакой Гончаровой, нет по поводу ее ни сомнений, ни беспокойства, ни порываний. Мало того. Перед Пушкиным неотступно стоит обольстительный призрак какой-то давно умершей его возлюбленной, и он страстно тянется к ней всем своим существом и воспевает ее в целом ряде стихотворений («Заклинание» «Для берегов отчизны»).

В своей статье «Об автобиографичности Пушкина», я привел много фактов, показывающих, что в *жизни* нередко данное лицо или событие вызвали у Пушкина впечатление, диаметрально-противоположное тому, какое он отображал позднее в поэтической переработке. Отсылая интересующегося читателя к указанной статье, приведу здесь только два-три примера.

¹⁾ «Русский Архив», 1883, II, 331.

В письме к Дельвигу, описывая свое посещение Бахчисарайского фонтана, Пушкин рассказывает, что он приехал в Бахчисарай больной лихорадкой, испытал большую досаду при виде небрежения, в котором истлевают ханский дворец, а прославленный фонтан описывает так: «вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода». В своем же стихотворении к фонтану Бахчисарайского дворца Пушкин описывает «немолчный говор» этого фонтана, сообщает, что его серебряная пыль кропила его «росою холодной» и что он внимал его журчанию с большой отрадой.

В июле 1825 г. Пушкин виделся в Тригорском с Анной Петровной Керн. Это была веселая барынька не весьма строгих нравов. И до этой встречи, в письмах к ее сожителю Родзянке, Пушкин отзывался о г-же Керн весьма игриво, и после встречи писал ей письма самого домогательно-страстного характера, и в письмах к друзьям называл ее «вавилонскою блудницею». А во время этой встречи Пушкин вручил ей знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье», где эту самую «вавилонскую блудницу» восторженно величал «гением чистой красоты».

В сентябре 1835 г. Пушкин писал жене из Михайловского: «Около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу». А в стихотворении «Опять на родине» впечатление от этой же молодой поросли—знаменитое приветствование идущей на смену молодой жизни: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!..»

Рядом с «бесстрастием» пушкинской поэзии идет столь же для нее характерная чистота. Имею в виду

зрелые его произведения, после «Бахчисарайского фонтана». Ни одной самой легкой фривольности. В очаровании высокой целомудренности и чистоты стоит перед нами созданный Пушкиным образ Татьяны. Пушкин пишет такие удивительные вещи, как «Когда в объятия мои» и особенно «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением».

Стихотворения, повидимому, обращены к его жене. Вот второе из них:

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением,
Восторгом чувственным, безумством, иступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, вивясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле,—
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

В сущности, перед нами подробнейшее, чисто физиологическое описание полового акта. А между тем читаешь—и изумляешься: «какое произошло волшебство, что грязное неприличие, голая физиология превратились в такую чистую, глубоко целомудренную красоту?» П. И. Бартенев рассказывал Н. О. Лернеру, что, когда он прочитал это стихотворение С. Т. Аксакову, Аксаков побледнел от восторга и воскликнул: «Боже, *как* он об *этом* рассказал!»¹⁾

А между тем вот что писал Пушкин своей приятельнице Е. М. Хитрово: «Я больше всего на свете

¹⁾ Соч. Пушкина, изд. Брокгауза-Ефрона, т. VI, 426.

боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки,—это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Хотите, чтоб я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все склонности у меня вполне мещанские.»¹⁾ Тут есть, может быть, некоторое озорное преувеличение. Однако все, знавшие Пушкина, дружно свидетельствуют об исключительном цинизме, отличавшем его отношение к женщинам,—цинизме, поражавшем даже в то достаточно циничное время.

Молодой приятель Пушкина, Алексей Вульф, пишет в своем дневнике: «Молодую красавицу вчера начал я знакомить с техническими терминами любви: потом, по методе Мефистофеля (Пушкина), надо ее воображение занять сладострастными картинками; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, кто им питать может их, и теряет ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности»²⁾. Это относится к середине двадцатых годов. Весною 1829 г. С. Т. Аксаков писал С. П. Шевыреву: «С неделю назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что Мицкевич два раза принужден был сказать; «господа! Порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!»³⁾ А вот рассказ кн. Павла Вяземского, относящийся уже к 1836 г., т. е. к последнему году жизни Пушкина; Вяземскому было тогда 16 лет.

1) Письма Пушкина к Е. М. Хитрову. Ленинград 1927, изд. Академии наук СССР. стр. 139.

2) «Пушкин и его современники», XXI—XXII, стр. 141.

3) «Русский Архив», 1878, II, 50.

«В это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки, чтоб заставить женщин уважать вас». ¹⁾

И таков Пушкин во всех проявлениях. В жизни—суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до безумия ослепляемый страстью. В поэзии—серьезный, несравненно-мудрый и ослепительно-светлый,—«весь выше мира и страстей».

Это поразительное несоответствие между живую личностью поэта и ее отражением в его творчестве, эта странная двойственность Пушкина отмечалась уже давно и не раз. В 1890 г., во время открытия памятника Пушкину в Москве, Ив. С. Аксаков говорил в своей речи: «Пушкин представляет в себе удивительное, феноменальное и глубоко-трагическое сочетание двух самых противоположных типов, как *человека* и как *художника*: знойный африканский темперамент и чисто-русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развивавшееся; страстность *природы* и воздержность колорита в *поэзии*; самообладание мастера, неизменно-строгое соблюдение художественной меры; легкомыслие, ветренность, кипение крови, необузданная чувственность в жизни и, в то же время, серьезность и важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот целомудренного искусства. Он сам сильнее всех сознавал в себе эту двой-

¹⁾ Собрание сочинений, 546.

ственность (стихотворение: «Пока не требует поэта»). Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих, божественных даров в те минуты, когда сознавал свое «ничтожество»?¹⁾

Это все верно. Мне только кажется, что Аксаков ошибается, думая, будто Пушкин трагически переживал разлад между жизнью и поэзией. В дальнейшем изложении мы увидим, что для Пушкина тут не было решительно никакой трагедии. И более прав Владимир Соловьев, говоря так: «Возвращаясь к жизни, Пушкин сейчас же переставал верить в пережитое озарение. Те видения и чувства, которые возникали в нем по поводу известных лиц или событий и составляли содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тяготился такою бессвязностью, такою непроходимую пропастью между поэзией и житейской практикою... Он с полною ясностью отмечал противоречие, но как-то легко с ним мирился. Резкий разлад между творческими и житейскими мотивами казался ему чем-то окончательным и бесповоротным, не оскорбляя его нравственного слуха... Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением жизни в поэзию, а для самой текущей жизни, для житейской практики, оставались только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом. Такое раздвоение между поэзией, т. е. жизнью, творчески просветленную, и жизнью действительною или практическою иногда бывает поразительно у Пушкина». ²⁾

1) «Русский Архив». 1880, II. 478.

2) «Судьба Пушкина». Владимир Соловьев, Собр. соч. т. VIII, стр. 34, 36, 32.

Но при этом необходимо подчеркнуть вот что. Конечно, не откуда-то сверху, не с каких-нибудь мистических высот, спускалось на поэта озарение, так высоко поднимавшее его душу над жизнью. Данные для этого озарения лежали в его собственном подсознании. Но в обычное время соответственные настроения переживались Пушкиным как-бы в полусне, смутно и недействительно, и только в состоянии вдохновения властно завладевали всею его душою. Под поверхностным слоем густого мусора в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи. Это доказала его смерть. Вырванная из темной обыденности, душа его вдруг засияла ослепительным светом, всех изумляя своим благородством и величавой простотою.

III

Насчет одного, кажется, все согласны.—Это насчет удивительной душевной гармоничности и жизнерадостности Пушкина. В. Д. Спасович пишет: «Пушкин был по преимуществу веселый человек, весь—жизнь, весь—радость»¹⁾. Д. Н. Овсяннико-Куликовский: «Пушкин—один из самых жизнерадостных поэтов мира», он обладал «природной, неодолимой жизнерадостностью»²⁾. Д. С. Мережковский говорит о «необычайной бодрости, ясности его духа, никогда не изменявшей ему жизнерадостности... Пушкин—самый светлый, самый жизнерадостный из новых гениев»³⁾. И так дальше без конца.

¹⁾ В. Д. Спасович, Сочинения, т. I., Спб. 1889. Речь о Пушкине 31 января 1887 г., стр. 210.

²⁾ Собр. соч., IV, 134, 135.

³⁾ Полн. собр. соч., 1914, т. XVIII, 100, 103.

Нет ничего ошибочнее такого взгляда на Пушкина. Все, знавшие его, отмечают его закатистый, веселый, заражающий смех. Художник Брюллов отзывался: «какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны!» Но знаменитый смех Пушкина—это того рода смех, о котором Ницше сказал: «Человек страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное,—по справедливости, и самое веселое».

Л. Н. Павлицев сообщает со слов своей матери, сестры Пушкина: «Переходы от порывов веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обуславливалось, по словам его сестры, нервной раздражительностью в высшей степени. Нервы его ходили всегда, как на шарнирах»¹). Барон Е. Ф. Розен пишет: «Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти; чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему не надобно было причины, нужна была только придирка к смеху! В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и как будто бы ему самому при этом невесело на душе»²). В этом отношении очень ценно сообщение Ксенофонта Полевого,—оно внушает особенное доверие потому, что автор приводит мнение о себе Пушкина с большим недоумением и решительно с ним не соглашается. «Я сказал Пушкину,—рассказывает Полевой,—что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его—грустный,

¹) «Воспоминания о Пушкине», 156.

²) «Ссылка на мертвых». «Сын отечества». 1847, кн. 6, отд. III, стр. 27.

меланхолический, и если иногда он бывает в веселом расположении, то редко и ненадолго. Мне кажется и теперь, что он ошибался, так определяя свой характер»¹⁾).

Так определял Пушкин свой характер не только в беседе с Кс. Полевым. В письме к В. П. Зубкову от 1 декабря 1826 г. он пишет: «Мой нрав—неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый». В другом письме Пушкин пишет: «я мнителен и хандрлив (каково словечко?)». Пересмотрите с этой точки зрения письма Пушкина. Вечный, неизменный лейтмотив: скука, скука; тоска, тоска... «Я сегодня зол». «Если бы знал ты, как часто бываю я подвержен так называемой хандре». «Скучно, моя радость, вот припев моей жизни». Скучно на юге, скучно в Михайловском. Тоска в Петербурге, тоска в Москве. Цитировать можно до бесконечности. И рядом с этим—пара бесценных «жизнерадостных» цитат, удостоверяющих несокрушимое жизнелюбие Пушкина: письмо его к Плетневу от 22 июля 1831 г.: «Опять хандрить! Эй, смотри: хандра хуже холеры...» и письмо к Нащокину в октябре 1835 г. о том, как хорошо жить не холостяком, окруженным шумящею молодою порослью.

Возражают: эти нерадостные настроения Пушкина вызывались тяжелыми обстоятельствами, в которых он находился. Но жизнерадостность не в том, чтобы радоваться жизни в моменты счастья. В жизни самого несчастливого человека бывают дни и недели, когда вдруг судьба осыплет его радостью, окружит блеском солнца, сверкающею зеленью, влюбленными девичьими улыбками. В эти минуты быть жизнерадостным не мудрено: таковы у Пушкина были, например, недели,

¹⁾ «Записки» Кс. Полевого, 276.

проведенные осенью 1820 г. в Гурзуфе. Жизнерадостность— в том, чтобы силою своею жизненности одолевать всякое горе, всякую тоску и скуку, чтобы ударам судьбы противопоставлять ту „могучую стойкость“, которою были сильны древние эллины и выразители их духа—Гомер и Архилох. Архилох говорит:

Но и от зол неизбывных богами нам послано средство.

Стойкость могучая, друг,—вот этот божеский дар.

То одного, то другого судьба поражает. Сегодня

С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде.

Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,

Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.

Лев Толстой рассказывает про Пьера Безухова, отражающего истинно-жизнелюбивую душу самого Толстого: пленный Пьер „испытывал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек. И именно в это самое время он получил то спокойствие и довольствие собой, к которым он тщетно стремился прежде... Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его выростала и крепла независимая от нее сила жизни... В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом. Но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину,— он узнал, что на свете нет ничего страшного“.

Вот—истинное жизнелюбие, силою своею жизненности преодолевающее все страхи, тяготы и мелочи жизни, умеющее прозревать радостное существо жизни сквозь толщу всех ее уродств и неустройств. У Пушкина этого не было. Он беспомощно бился в захлестывавших его мелочах, эти мелочи заслоняли от него жизнь и растрепывали душу, он вечно мечется, вечно раз-

дражен и растерян. „У меня голова кругом идет“, — выражение, то и дело встречающееся в письмах. Жуковский писал после смерти Пушкина: „Жизнь Пушкина была мучительная, — тем более мучительная, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные“. Нигде в жизни Пушкина мы не видим и не чувствуем веяния живой жизни, торжествующего биения силы жизни, умиряющей и гармонизирующей кипящий вокруг человека и в нем самом жизненный хаос.

Так было у Пушкина в жизни. Но и в искусстве его мы встречаем очень мало жизнерадостности. И здесь еще страннее слышать эти вечные характеристики Пушкина, как поэта легкой и светлой радости жизни.

„Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?“ „Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я“. „День каждый, каждую годину привык я думой провожать, грядущей смерти годовщину меж них стараясь угадать“. „Жизни мышья беготня...“ „Холодный ключ забвенья, — он слаще всех жар сердце утолит“. „И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет“, и так дальше до бесконечности. И в противовес этому опять-таки — две-три бессменно-дежурных цитатки, знаменующих жизнелюбие Пушкина. В конце шестой песни „Евгения Онегина“:

так и быть, простимся дружно,
О, юность легкая моя!
Благодарю тебя. Тобою
Среди тревог и в тишине
Я наслаждался... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь,
От жизни прошлой отдохнуть.

Это—в последних строфах шестой песни. Но уже в начале седьмой песни, всего через два-три месяца после написания приведенных жизнелюбивых строк, поэт спрашивал:

Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленья
На душу, мертвую давно,
И все ей кажется темно?

Потом еще, конечно,—„я жить хочу, чтоб мыслить и страдать“. Вот, кажется, и все, что говорит о несокрушимом жизнелюбии Пушкина. Какие затруднения приходится преодолевать критику, конструирующему „жизнерадостность“ Пушкина, показывает курьезная статья Р. И. Иванова-Разумника об „Евгение Онегине“. Это—не случайная газетная статейка, — она помещена в виде введения к „Онегину“ в фундаментальном издании Пушкина Брокгауза-Ефрона и бережно перепечатана автором в собрании его сочинений.

„Мир должен быть принят нами во всей его полноте, — пишет Иванов-Разумник. — Выше всего стоит, над всеми царит ясная, солнечная, радостная жизнь, не имеющая объективного смысла, но великая в своей субъективной ценности: вот постоянный „пафос“ поэзии Пушкина, ее вечная сущность“¹⁾. Статья Иванова-Разумника представляет любопытный образчик чисто *гнилотиического* способа убеждения читателя. Доказательства, им приводимые, поразительно неубедительны, но автор настойчиво повторяет и повторяет: „В Пушкине победила сама жизнь, радостное чувство красоты ее, признание не ценности в *ней*, а ценности *ее самой по себе*“. „Полнота бытия и его напряженность—вели-

¹⁾ Сочинения, V, 106.

чайшая субъективная цель жизни человека: вот глубокая стихийная мудрость Пушкина, вот бессознательная философия „Евгения Онегина“, и т. д. И от этого назойливого повторения у читателя, наконец, начинает складываться впечатление, что Пушкин, действительно, горел в своей поэзии этим „пафосом жизни“. Если, однако, не поддаваясь внушению автора, мы взглянем в его доводы, то будем поражены их убожеством. Чего-чего он ни выколупывает из Пушкина, чтоб только обосновать свое утверждение! Одним из краеугольных камней воздвигаемого им здания являются стихи, которые Ленский пишет перед дуэлью:

Прав судьбы закон.
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.

„В такие формы,—замечает Иванов-Разумник,—вылилось ясное, простое и величавое в своей простоте отношение поэта к „мировому злу“; это была не надуманная теория, это было врожденное мировосчувствование, стихийная мудрость ясного эллинского отношения к миру“. Да, вот именно,—„в такие формы“! „Так он писал, *темно и вяло*“,—отзывается Пушкин о стихах Ленского. И в этих-то „темных и вялых“ стихах Пушкин и вылил свое задушевнейшее и глубочайшее мироотношение! Не нашел более подходящего случая, где его высказать.

Впрочем, это еще что! Слушайте дальше.

„Быть может, лучшей характеристикой сущности всей стихийной мудрости Пушкина является одна из строк довольно слабой переделки Ф. Ключниковым¹⁾ стихотворения „26 мая 1828 года“:

¹⁾ Почему Ф. Ключниковым? Стихотворения свои Ключников подписывал буквой фитой, но звали его Иван Петрович.

Вот. Строка третьестепенного поэта из слабой переделки пушкинского стихотворения, служащая лучшей характеристикой всей стихийной мудрости Пушкина! Стишок Нестора Кукольника, резюмирующий Шекспира, фраза из романа Михайлова-Шеллера, подводящая итоги Достоевскому!

Иванов-Разумник спешит прибавить:

„И сам Пушкин почти буквально этими же словами высказал свою мысль в послании „К вельможе“:

Ты понял жизни цель; счастливый человек,
Для жизни ты живешь...

Если „почти буквально“, — так отчего было просто не привести самого Пушкина, зачем было в первую голову тревожить жиденькую тень Ивана Ключникова? Оттого, что слова Пушкина в последней цитате имеют очень узкий смысл. Это сразу стало бы очевидным, если бы автор продолжил цитату:

Свой долгий, ясный век
Еще ты смолodu умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил...
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.
И т. д.

Словом — легковесная философия анакреонтизма и вульгарного эпикурейства, характеризующая душевный строй вельможи, сына восемнадцатого века. Вот почему и пришлось нашему критику на первом месте поставить стишок Ключникова.

Помните ли вы, далее, глубоко пессимистические заключительные строфы „Онегина“ о счастье того, кто

рано оставил праздник жизни? Настроение, чрезвычайно характерное для упадочного человека. Подпольный человек Достоевского пишет: „Дольше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Только дураки и негодяи живут дольше сорока лет“. И Иван Карамазов говорит: „уж как припал я к кубку жизни, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! Впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью его всего, и отойду... сам не знаю, куда“. В том-то и сказывается настоящий „пафос жизни“, настоящая „полнота бытия“, что человек не рассчитывает боязливо своих сил на короткий срок, что во всех стадиях своей жизни умеет находить красоту и полноту. И эту-то глубоко-жизнеотрицательную заключительную строфу „Онегина“ Р. И. Иванов-Разумник ухитряется использовать также в качестве доказательства солнечного жизнелюбия Пушкина.

„Исполненные прозрачной грусти последние строки романа заключают созвучным аккордом эту стихийную мудрость поэта. Не в объективных целях бога или природы смысл жизни, не в продолжительности переживаний цель человека, а в полноте и яркости этих переживаний, и в их силе, разнообразии, стройности; и не тот мудр и счастлив, кто, подобно гончаровскому Штольцу (и самому Гончарову), считает нормальным назначением человека „прожить... четыре возраста и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно“, а тот, кто жил всеми сторонами души, всей полнотой бытия—и не дожил до ужасной старости Штольца-Гончарова; тот счастлив и блажен,

кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,

Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим...“ 1)

Но ведь есть не только старость Штольца и Гончарова. Есть старость летописца Пимена, старого цыгана из „Цыган“, старость Льва Толстого, Гете. Гете писал Гегелю: „Я всегда радуюсь вашему расположению ко мне, как одному из прекраснейших цветов все более развивающейся весны моей души“. Гете в это время было семьдесят пять лет. В 1898 г. Лев Толстой записывает в дневнике: „Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это— не воображение, а ясно сознаваемая, как тепло, холод, перемена души, переход от путаницы, страдания, к ясности и спокойствию. Как-будто выросли крылья“.

Вот как воспринимается старость истинным жизненным любием, вот как и сама старость может увеличивать и углублять истинную „полноту бытия“.

IV

Пушкин пишет в одном письме: „Чорт меня догадал думать о счастье,—как-будто я для него создан!“

Однако было одно счастье, несомненное и прочное, которое Пушкин знал хорошо, и о котором он с удивительным постоянством, нигде себе не противореча, твердит с юных лет до смерти. Это счастье—счастье ухода от живой жизни в мир светлой мечты. Уже пятнадцати-шестнадцати лет он пишет, обращаясь к фантазии: „Что было бы со мною, богиня,

1) Сочинения, т. V, 113.

без тебя?“ („К сестре“, 1814). И взывает ко сну: „Веди
меня ко щастью забвения тропой!“ („Городок“, 1814).

Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум... обманом,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом.

(„Мечтаґелю“, 1815.)

В мечтах все радости земные:
Судьбы всемогнее поэт.

(„Послание к Юдину“, 1815.)

Где мир, одной мечте послушный?
Мне настоящий опустел.

(„Окно“, 1816.)

Так было в отрочестве. И так всю жизнь. В эпилоге к „Руслану“ Пушкин пишет:

Я пел — и забывал обиды
Слепое счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов.
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной...

Очень характерно черновое стихотворение 1821 г. „Не тем горжусь“: поэт гордится не силою своего таланта и действием его на людей, не общественными своими заслугами в борьбе со злобою и тираннами, не славою своею:

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена:
Самолюбивых дум отрада,
Мечтанья суетного сна.

В а р и а н т:

До гроба щастие отныне—
Мечтанья неземного сна.

В 1829 г.:

О, нет, мне жизнь не надоела...
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья...

„Вы, призрак жизни неземной, вы, сны поэзии святой...“ Самое в них ценное, — что они дают забвение окружающей реальной жизни. „И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем...“ „Я с вами знал все, что завидно для поэта: забвенье жизни в бурях света...“ В „Египетских ночах“ Пушкин рассказывает про поэта Чарского, образу которого им придан ярко выраженный автобиографический характер: „Чарский признавался искренним своим друзьям, что только во время писания он и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь“.

Творчество, искусство — это для Пушкина единственная сила, способная питать душу поэта и не дать ей задохнуться в грубой, пошлой и по самому своему существу чуждой поэту стихии жизни:

А ты, младое вдохновенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Князь П. А. Вяземский рассказывает про Пушкина: „При нем, в нем глубоко таилась охранительная и спасительная сила. Эта сила была любовь к труду,

неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался“¹⁾). И П. В. Анненков сообщает: „Трудно себе и представить, каким орудием нравственного спасения было для Пушкина чистое творчество, указывая ему самому настоящие качества его ума и сердца. Пушкин перерождался нравственно, когда приступал к созданию своих произведений. Дух его как-то внезапно светлел и устраивался по-праздничному, возвышаясь над всем, что его сдерживало, томило и угнетало. Самые подробности жизни, тяготевшие над его умом, разрешались в тонкие поэтические намеки и черты, сообщавшие произведению, так сказать, запах и окраску действительности“²⁾). „Только в искусстве,—говорит он же в другом месте,—находил Пушкин благотворное разрешение противоречий собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собою и признавал себя в высоком нравственном значении“³⁾).

О таком действии творчества на его душу сам Пушкин рассказывает в черновых набросках, служащих продолжением „Трех сосен“:

Я был ожесточен...
И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Прощение святое осенило.
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня...

1) Полное собр. соч., II, 372.

2) „Пушкин в Александровскую эпоху“, 211.

3) „Материалы для биографии Пушкина“, 2-е изд., стр. 179.

Ницше говорит: „Что кто-нибудь представляет из себя по существу,—начинает обнаруживаться, когда его талант убывает,—когда человек перестает показывать, что он может. Талант—тоже наряд; наряд—тоже прикрытие“. Если мы представим себе других наших крупных художников лишенными таланта, то у большинства из них останется и еще что-то, что выделяло бы их из обывательской толпы. Мы легко можем представить себе Лермонтова, родись он лет на десять раньше, несчастливым декабристом, Гоголя можем представить себе фанатическим монахом-аскетом, Толстого—религиозным сектантом вроде Сютаева, Достоевского—старцем-схимником типа Амвросия. Но что являл бы из себя в таком случае Пушкин? Всего вероятнее, вот что:

Несносно видеть пред собою
 Одних обедов длинный ряд,
 Глядеть на жизнь, как на обряд,
 И вслед за чинною толпою
 Итти, не разделяя с ней
 Ни общих мнений, ни страстей...

Для большинства других наших художников искусство не было ценностью, стоящею неизмеримо выше всяких других ценностей. Толстой и Гоголь отрекались под конец жизни от художества во имя высших для них религиозных и моральных ценностей; мы легко можем представить себе, что за настоящую, детски-чистую веру в бога Достоевский с радостью отказался бы от писательства. Глеб Успенский свой чудесный талант размотал на публицистику, Короленко из-за общественной остался великим писателем без великих произведений, Некрасов в праве был сказать о себе:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Мне поэзия мешала быть бойцом.

Но Пушкин—Пушкин своего права художественного творчества не отдал бы ни за что,—ни за бога, ни за народ, ни за какие блага мира.

Но если подлинная жизнь, подлинное горение души возможно только в творчестве, в поэзии, в уходе в мир светлой мечты,— то какое же другое может быть отношение к реальной жизни, как не пренебрежительное и глубоко равнодушное?

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии. Но нет, тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

Это пренебрежение к „низкой жизни“, в понимании Пушкина, лежит в самом существе художника. И этим объясняется „двупланность“ Пушкина, его двойственность, поразительное несовпадение его творчества с его жизнью и, вопреки мнению Ивана Аксакова, полное отсутствие всякого трагизма от этого несовпадения. Вся жизнь, живая жизнь,— где-то там, глубоко внизу, и как смеет она требовать какого-то вмешательства в себя от этих головокружительных высот искусства?

Моцарт у Пушкина говорит: „Гений и злодейство— две вещи несовместные“. И чувствуется, что и для самого Пушкина это — несомненная аксиома. Но почему гений и злодейство несовместимы? Будем даже говорить об одних художественных гениях, которых, конечно, тут преимущественно имеет в виду Пушкин. Почему художественный гений не может совершить

злодейства? Мы легко можем представить себе злодеями Архилоха, например, или Бенвенуто-Челлини. Легенда настойчиво приписывает Достоевскому одно мрачное злодейство, и мы никак не можем сказать, чтоб оно совершенно было несовместимо с его гением. Почему же Пушкин так непоколебимо уверен, что гений и злодейство несовместимы? Не потому, как обычно толкуют, что гений обязательно соединяется в человеке с нравственной высотой,— это совершенно неверно, и гений нередко бывает в жизни форменным дрянцом. Несовместимы для Пушкина две указанные стихии потому, что злодейство тоже есть *жизненное творчество*. М. П. Погодин приводит в своем дневнике такие слова Пушкина: „Разве на злодеях нет печати силы, воли, крепости, которые отличают их от обыкновенных преступников?“¹⁾ Вот в чем дело. На „пакости“ (как Пушкин сам называл некоторые свои стихотворные выходки),— на пакости гений способен, сколько угодно. Но на злодейство он неспособен потому, что для этого потребна энергия, внимание к жизни, вкладывание в нее своих сил, одним словом — забота о „нуждах низкой жизни“. Но раз это так, то, может быть... гений и *подвиг* — тоже две вещи несовместные? Сальери не гений, потому что способен на злодейство. Но, может быть, и Рылеев не гений потому, что способен — на подвиг? Конечно.

Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор,— полезный труд!—
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,

¹⁾ „Пушкин и его современники“, XIX—XX, 92.

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Все житейские волнения,— и корысти, и битвы, и злодейства, и подвиги,— все это одинаково только подметание сора, до которого поэту нет и не может быть никакого дела.

Поэт тоже знает „волнение“,—но это волнение совсем другого рода:

И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье...

Пушкин пишет слепцу-поэту Козлову:

Певец! Когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

О, милый брат, какие звуки
В слезах восторга внемлю им.
Чудесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь...

Такой „новый мир“, полный „светлых привидений“, непрерывно творит и сам Пушкин в своей поэзии. Необычайный, своеобразный мир. Все в нем как будто просто, обыкновенно,— как будто наш обычный земной мир: весь реальный Пушкин тут, лирика такая автобиографическая, все его знакомые, друзья, возлюбленные, все местности, которые легко найти на географической карте. Все как будто то — и в то же время совсем не то. „Перед этими картинками жизни и при-

роды бледна и жизнь, и природа“, — замечает Белинский. И Гоголь говорит: „не вошла туда нагишом растрепанная действительность. Чистота и безыскусственность взошли тут на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною“.

Пушкин хватается за жизнь, в творческом порыве выносит ее в другой план и там все — радость и скорбь, прозу и грязь — преобразует в божественную красоту. И „вавилонская блудница“ Керн превращается в „гения чистой красоты“, лисица-Филарет — в серафима, арфе которого внемлет поэт в священном ужасе, — в подлиннейшем священном ужасе. И брюзгливое раздражение при виде молодой сосновой поросли преобразуется в светлое приветствование молодой жизни, идущей на смену старой. И вся темная, низменная жизнь с ее скукою, унынием и безнадежностью озаряется солнечным светом, и все становится одинаково прекрасным. „Мне грустно и легко; печаль моя светла“. Самые безнадежные настроения начинают светиться этим светом, — и вот люди начинают говорить о „солнечном жизнелюбии“ Пушкина, о приятии им всех темных сторон жизни...

VI

Поэзия Пушкина — это, поистине, самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа. Чрезвычайно в этом отношении интересно наблюдение процесса пушкинского творчества. Поэт с жизненных низин, как по ступенькам, с каждой стадией своей работы поднимается все выше и выше на эти вершины благородства, целомудрия и ясности духа.

П. И. Бартенёв пишет по поводу стихотворения Пушкина на смерть Наполеона (1821 г.): „Можно смело утверждать, что нигде в Европе, ни тогда, ни долго после, не было сказано о Наполеоне ничего лучшего и благороднейшего. Надо припомнить, что Пушкину в этом случае предстояла особенная трудность. Кто не писал о Наполеоне, кто не клял его памяти?“¹⁾ Изучение черновика этого стихотворения дает вот что: „В первоначальной редакции,—пишет П. О. Морозов,—еще обильно рассеяны укоризненные эпитеты: „губитель“, „преступник“, „страшилище вселенной“, „безумец“ и пр., так часто повторявшиеся в произведениях русских стихотворцов 10-х годов минувшего века; но тут же внесены уже и смягчающие поправки: „страшилище“ заменено „изгнанником“; „гордый“, „грозный“ ум обратился в „дивный“; наконец, укор развенчанной тени объявляется „безумным малодушием“: „он пал,—умолкни, глас укора! Велик и падший великан“. С каждой новой строфой, с каждой новой поправкой риторическое осуждение уступает место примирению,—и в окончательной редакции из всех порицательных выражений остаются только „надменный“ и „тиран“, да указанье на презрение Наполеона к человечеству“²⁾.

И заканчивается стихотворение так:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

1) „Пушкин в южной России“, 2-е изд. стр. 88.

2) Академич. изд. соч. Пушкина, т. III, примечания, стр. 353.

Еще более интересна история постепенного углубления и облагорожения темы в процессе творческой работы, которую мы наблюдаем в черновиках стихотворения Пушкина „Жил на свете рыцарь бедный“¹⁾. Первоначально это было длинное стихотворение, где рассказывалось о том, как рыцарь влюбился в изображение девы Марии и стал равнодушен ко всем женщинам, как перестал молиться отцу, сыну и святому духу и целые ночи проводил перед образом богоматери, как отправился в Палестину:

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он, будто заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он.
Между тем, как он кончался,
Бес лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Утащить он в свой предел.
Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа.
Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

Своеобразная история полового извращения, известного под именем фетишизма, наблюдавшегося нередко в самых разнообразных формах во времена аскетического средневековья. И своеобразное освещение этой истории, выдержанное Пушкиным совершенно в духе

¹⁾ См. „Неизданный Пушкин“, изд. „Атеней“, 1922, стр. 113 и сл.— „Творческая история“ под ред. Н. К. Пиксанова. М. 1927.— Г. Н. Фрийд, История романа Пушкина о бедном рыцаре, стр. 92 и сл.

того же средневековья. Такова была тема, и таково исполнение в первоначальном замысле. Но постепенно образ бедного рыцаря все больше растет, светлеет, облагораживается, болезненные извращения отпадают, и в окончательной редакции перед нами — восторженный и смелый духом мечтатель, „полный чистою любовью, верный сладостной мечте“.

В черновиках Пушкина, в набросках его первоначальных замыслов мы иногда наталкиваемся на странные низины, на стоячие темные болотца, совершенно неожиданные для Пушкина и говорящие, что первоначальные, так сказать, жизненные его настроения, соответствовавшие начальным стадиям творчества, не бывали лишены настроений вполне упадочного характера.

В одном черновом наброске, относящемся к 1823 г. ¹⁾, поэт пишет:

Придет ужасный миг,— твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почуют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой...
Лампада бледная твой бледный труп осветит...
Коснусь я хладных ног, к себе (обняв) их на колени
Сложу и буду ждать... Чего?
Чтоб силою мечтанья моего
У ног твоих...

До жути странные, совершенно некрофильские настроения. И это не единичное место. В 1826 г. Пушкин пишет монолог князя, идущего лунною ночью на сви-

¹⁾ Академич. изд. соч. Пушкина, т. III, примечания, стр. 353.

дание с русалкою,— может быть, первоначальный набросок „Русалки“¹⁾):

Дыханья нет из бледных уст,— но сколь
Пронзительно сих влажных, синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья —
Томительно и сладко — в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается — тогда
Какой-то хлад, как ужас, пробегаёт
Мне голову, и сердце громко бьётся,
Томленьем и любовью замирая,
И в этот миг я рад оставить жизнь —
Хочу стонать и пить ее лобзанья...

Совершенно бодлэровские настроения... И нет, конечно, никакого сомнения, что, не брось Пушкин этих первоначальных замыслов, возьмись он за их дальнейшую обработку,— и не осталось бы следа от всего этого декаденства, и перед нами были бы стихотворения, полные обычной для Пушкина ясности духа и нетревожной целомудренности.

VII

Подлинная, глубокая и ясная жизнь — в этом мире светлой красоты, высокого душевного благородства и незатемняемого страстью сознания. И вдруг откуда-то далеко снизу, из того, другого плана, назойливые, требовательные вопросы:

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?

1) Академич. изд. соч. Пушкина, т. IV, стр. 221.

О чем бренчит, чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

Как дико, как чуждо должны звучать эти вопросы для „сына небес“, окруженного беспредельною, сверкающею стихией красоты, упоенно внимающего „хору светлых привидений“.

Цель? Польза? При чем тут цель? Какой тут может быть разговор о пользе? „Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?“ „Чадам праха“, лишенным счастья жить на высотах, этот светлый мир может только „волновать, мучить сердца“, возмущать душу „бескрылым желаньем“. Учить их? Давать им „смелые уроки“? Это совсем не дело поэта. А вот его дело: „глаголом жги сердца людей!“¹⁾

Все это делает вполне понятным и заслуживающим полнейшего доверия столь часто встречающееся у Пушкина утверждение, что пишет он исключительно для самого себя.

На это скажут мне с улыбкою неверной:
„Смотрите, — вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите, Вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она:
Зачем же пишете?“ — Я? для себя! — „За что же
Печатаете вы?“ — Для денег. — „Ах, мой боже!
Как стыдно!“ — Почему ж?..

И это все время упорно твердит Пушкин. „Твой труд тебе награда, им ты дышишь, а плод его бросаешь ты толпе, рабыне суеты“. „Ты царь. Живи один“ и т. д.,

¹⁾ См. выше: „Пушкин и польза искусства“.

и т. д. Что поклонение, всеобщее признание, слава, всевозможные памятники, рукотворные и нерукотворные?

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена;
До гроба щастие отныне —
Мечтанья неземного сна.

Это, конечно, вовсе не значит, что Пушкин в жизни относился к славе и поклонению с полнейшим равнодушием, — он мог раздражаться на отрицательные о себе отзывы, мог самолюбиво замыкаться в себе, наблюдая всеобщее охлаждение читательской публики. Но все это происходило там, в низшем плане, в плане реальной жизни. В верхнем плане, в плане творчества, это был „смешной и суетный“ вздор, на который и взгляда-то не хотелось бросить со своих высот.

Мир „светлых привидений“, в котором живет поэт, как будто является отрицанием нашего низменного, земного мира. Однако он в то же время весь целиком коренится именно в этом нашему мире, — совсем так же, как жизнь эллинских божеств.

Перед нами не какой-нибудь романтический потусторонний мир, обесценивающий нашу землю, как например, у Лермонтова: „И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли“. Нет, это наш мир, земной мир, но только уярченный, просветленный, облегченный, — та гомеровская „легчайшая жизнь“ — „rheiste biotè“, — которую живут эллинские боги. Она-то грезится Пушкину, она властно постулируется его сознанием, как необходимая принадлежность самого бессмертия.

Конечно, дух бессмертен мой!
Но, улетев в миры иные,

Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне станет мир земной?
Ужели там, где все блистает
Нетленной славой и красотой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенства бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя?
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я..
Любови! Но что же за могилой
Переживет еще меня?
Видна мне бессмертна память милой,—
Что без нее душа моя?

(1822 г.)

И там, за могилой, поэту нужен этот, земной мир,— и вот даже до каких мелочей: „Мой дух к Юрзуфу прилетит“. И Пушкин заключает это стихотворение,— в черновом своем виде гораздо более глубокое и интимное, чем в напечатанном при его жизни „отрывке,— так:

Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы!
Зачем не верить вам, поэты?

Поэт пристально вглядывается в жизнь и сквозь грубую ее оболочку как будто прозревает утонченную ее сущность, лишенную „несовершенств бытия“. Есть у Пушкина черновой набросок: „Лишь розы увядают, амвросией дыша..“ Основной черновик набросан Пушкиным на французском языке, и он гораздо тоньше и художественнее, чем последующий русский набросок. Беспорядочно написаны стихи и отдельные слова (набросок опубликован в академическом издании сочине-

ний Пушкина, т. IV, примечания, стр. 284). Привожу их в размещении Брюсова (Соч. Пушкина под ред. Брюсова, Гос. изд. 1920, стр. 255) с поправками и дополнениями по тексту академического издания:

Quand la rose soudain a terminé sa vie
Au front du convive, au banquet...
Soudain se détachant de sa tige natale,
Comme un léger soupir, sa douce âme s'exhale
Dans les aires... voltige...
Aux rives d'Elysée ses manes parfumés
Fleurissent...
Charment du doux Léthé les bords inanimés...

(Когда роза внезапно оканчивает свою жизнь на челе гостя, на пиршестве... Внезапно, отделяясь от родного стебля, как легкий вздох, испаряется ее нежная душа... Порхает в воздухе... На берегах Элисия ее благоуханная тень цветет... чарует безжизненные берега Леты...)

Своеобразный мир „светлых привидений“, светящихся „теней“, включающий в себе тончайший экстракт жизни. М. О. Гершензон в своей статье „Тень Пушкина“ указывает, как часто употребляет Пушкин это слово „тень“, какой реальный, объективный смысл он вкладывает в это слово. Гершензон думает, что Пушкин, умозаключая из данных опыта, отрицал загробную жизнь, но, умозаключая из потребностей воли, признавал ее,— и именно в виде существования „тени“, тесно связанной с существом нашей земной жизни. Эти выводы Гершензона недоказательны и совершенно произвольны. У нас нет решительно никаких данных, чтобы утверждать что-нибудь о подлинной вере Пушкина в его „тени“. Однако пускай нет веры в их реальность. Творческим сознанием поэта они все время ощущаются перед глазами поэта все время—эта просветленная, невыразимо прекрасная жизнь,—

Где чистый пламень сожигает
Несовершенство бытия,—

такая как будто наша, земная, и в то же время так непохожая на темную нашу жизнь.

И что должен был испытывать поэт, спускаясь с этих „таинственных вершин“ в низины реальной жизни, наблюдая себя и всех кругом в их отталкивающей, темной конкретности?

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью...

В этом стихотворении „Воспоминание“ обычно видят какой-то „покаянный псалом“, выражение морального какого-то раскаяния. Но это совсем не так. Стихи эти — тоска олимпийского бога, изгнанного за какой-то проступок с неба [на темную землю и рвущегося мечтой к лучезарной своей родине (см. выше статью „Стихи неясные мои“).

VIII

В этом верхнем плане, в этом мире „светлых видений“, творимом для себя художником, все — благо, все — красота и свет. И чем больше в нем переживаете разнообразнейших чувств, тем этот мир разнообразнее, многоцветнее. Любимое название Пушкина в критических статьях было — Протей: мифическое божество, каждую минуту принимавшее новый вид, совсем непохожий на прежний. И шевелится вопрос: да случайность ли это, что мы до сих пор не можем найти у Пушкина центра, основного нерва его жизнеотношения, — того,

что Чехов называет „богом живого человека“? Случайность ли, что каждый исследователь может найти у Пушкина решительно все, чего ему хочется? Был ли у Пушкина этот центр?

Куда ж нам плыть? Какие берега
Мы посетим? Египет колоссальный,
Скалы Шотландии иль вечные снега?

Не все ли равно? В том, верхнем плане все чувства, все переживания одинаково светозарны и одинаково приемлемы для души. Повторять ли умиленно с отцами-пустынниками и женами непорочными православную молитву Ефрема Сирина, метаться ли с протестантским „Странником“ в неизбывном ужасе перед своею греховностью, созерцать ли с Данте в католическом аду муки грешников, увенчиваться ли розами на эллинском пиру вместе с Ксенофаном,—какая разница? Все одинаково ярко и сильно переживается творческою душою поэта в том, верхнем, творческом плане. Но переживалось ли это вправду и человеком в нашем, жизненном плане?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

И что тут вообще *не* минутно? Заметим кстати, что сам Пушкин неизменно признаком истинного вдохновения считал „движение минутного, вольного чувства“ (рецензия на Делорма, 1831 г.). И в „Египетских ночах“ он рассказывает: „Пылкие стихи — выражение мгновенного чувства — стройно вылетали из уст его“.

Настойчиво и страстно Пушкин всю жизнь отстаивал свободу поэта:

ветру и орлу,
И сердцу девы нет закона.
Гордись! Таков и ты, поэт,
И для тебя закона нет.
Глупец кричит: «куда? куда?»
Дорога здесь!“ Но ты не слышишь.
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд—
Тебе награда, им ты дышишь...

Мы теперь как будто давно уже отказались от роли этих глупцов, указывающих дорогу художнику; мы не так узки, чтобы непременно требовать от поэта непосредственного гражданского служения. Но мы не в состоянии себе представить, как можно не требовать от художника выявления его мироощущения, выявления правды жизни, которою он живет. А Пушкин, может быть, и на эти наши требования ответит: „Подите прочь! Я поэт, и для меня нет закона. Предоставьте мне отзываться на впечатления жизни самым фантастическим образом, как того требует мой своенравный гений, и не ждите от меня какой-то правды жизни. Может быть, ее у меня совсем нет, а, может быть, и есть,— да не про вас!“

Моя точка зрения на творчество Пушкина в некоторых существенных пунктах совпадает со взглядом на его творчество Белинского в его „пушкинских статьях“. Белинский пишет:

„Пафос, разлитый в полноте творческой деятельности поэта, есть ключ к его личности и к его поэзии. Первой задачей критика должна быть разгадка, в чем состоит пафос произведений поэта“. И пафос пушкинской поэзии Белинский определяет так: „Пушкин со-

зерцал природу и действительность под особенным углом зрения, и этот угол был исключительно поэтический... Он не знал мук блаженства, какие бывают последствием страстно-деятельного (а не только созерцательного) увлечения живой, могучей мысли, в жертву которой приносится и жизнь, и талант. В истории, как и в природе, он видел только мотивы для своих творческих концепций... Чем совершеннее становился Пушкин, как художник, тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний... Пафос его поэзии был чисто артистический, художнический... Пушкин был по преимуществу поэт-художник и больше ничем не мог быть по своей натуре“ (пятая статья).

Ницше в своей книге „О происхождении трагедии“ вот что говорит о жизнечувствовании древних эллинов. Древний эллин, по мнению Ницше, всегда знал и испытывал страхи и ужасы бытия, ему всегда была близка страшная мудрость о преимуществе небытия перед бытием. Как согласуется светлый мир олимпийских божеств с этою зловещею мудростью? Так же, как восхитительные видения истязуемого мученика — с его страданиями. Чтобы вообще быть в состоянии жить, эллин должен был заслонить себя от ужасов бытия промежуточным художественным миром, — лучезарными призраками олимпийцев. Та „гармония“ древнего эллина, на которую мы смотрим с такою завистью, вовсе не была простою цельностью и уравновешенностью духа. Гармония гомеровского эллина обуславливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, она — цветок, выросший из мрачной пропасти.

Ницшевское истолкование мирочувствования древнего эллина глубоко неверно. Силою, обуславливавшею приятие жизни и жизнерадостность древнего (до-траги-

ческого) эллина, была не сила иллюзии, не сила художественного творчества, а сила жизни (подробно об этом см. мою книгу: „Апполлон и Дионис. О Ницше“, „Живая жизнь“, часть вторая). Но ницшевское изображение своеобразного процесса художественного „приятя жизни“, симулирующего здоровую жизнерадостность и бодрость духа, удивительно приложимо в отношении к Пушкину. У Пушкина мы наблюдаем не жадную влюбленность в грубую, реальную живую жизнь, как у Гомера и вообще до-трагического эллина, как у Гете, Льва Толстого, Рабиндраната Тагора, Уота Уитмэна. Пушкин не умел жить среди живой жизни и любить ее, он от нее спасался в мир „светлых привидений“. Гармония Пушкина именно обуславливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, поэзия его именно была цветком, выросшим из мрачной пропасти¹⁾.

Такое понимание поэзии Пушкина, может быть, окажется более согласующимся и с социальными корнями его творчества.

1928.

1) Очень интересен и своеобразен взгляд на Пушкина недавно умершего Ф. К. Сологуба. Незадолго до смерти, 8 сентября 1927 г., он писал мне о Пушкине: „Быть может, нам еще рано разделяться с блистательным, но лживым гением, лукаво совершившим большое, но пародийное дело: попытка создать легенду об императорско-помещичьей России, которую он сам ненавидел, и покрыть лживым блеском природу и жизнь, которые были для него безнадежно-пусты, но о которых он находил такие превосходные слова“.

Таврическая звезда

Редееет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине.
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройно тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны:
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Первоначально элегия носила название «Таврическая звезда». Она написана Пушкиным в Каменке, на берегу р. Тясмина, в ноябре—декабре 1820 г. В ней он вспоминает свое пребывание на Южном берегу Крыма, в Гурзуфе, где он был в августе—сентябре того же 1820 г. «Дева юная»—очевидно, одна из барышень Раевских, в семье которых жил Пушкин в Гурзуфе. Вечерняя звезда—очевидно, планета Венера. Девушка называет ее подругам «своим именем». Что это значит? Очевидно, имя девушки находится в каком-то отношении к названию вечерней звезды. Если бы

удалось с несомненностью выяснить это отношение, то стало бы известно, какую именно из сестер Раевских имеет в виду элегия.

П. К. Губер доказывает, что поэт имел в виду Елену Раевскую: «Существовал древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской, и сестры Раевские могли знать об этом из какой-нибудь французской мифологической книжки. Кроме того, им мог рассказать это сам Пушкин, еще с лицейских уроков, вероятно, помнивший горацианскую строчку «...fratres Helenae lumina sidera»¹⁾).

Б. М. Соколов полагает, что элегия имела в виду Марию Раевскую. «Через И. Н. Розанова мы узнали», — пишет он, — «что Вячеслав Ив. Иванов, толкуя в руководимом им Пушкинском семинарии это стихотворение, объяснил, что в католическом мире Венера носит, между прочим, название «звезды Марии»²⁾). Объяснение В. И. Иванова передано здесь не совсем точно. От М. О. Гершензона я слышал, что Вяч. Ив. Иванов толкует разбираемое место так: в средневековых католических гимнах дева Мария называется *stella maris* (звезда моря), а *stella maris* было название планеты Венеры. Мне такое объяснение представлялось слишком ученым и громоздким: ну, где было знать Пушкину и девицам Раевским, как называли деву-Марию средневековые католические гимны? Однако, веское подтверждение мнению Вяч. Ив. Иванова мы находим в черновике Пушкинского «Акафиста К. Н. Карамзиной»:

¹⁾ «Пушкин и графиня Н. В. Кочубей» — «Русское прошлое» 1923 г., № 2, стр. 113. Ср. его же книжку: «Дон-Жуанский список Пушкина». Пгр. 1923, стр. 77.

²⁾ «Княгиня Мария Волконская и Пушкин». Изд. «Задруги», 1922, стр. 23.

Значит, Пушкину было известно название деви-
Марии—*stella maris*.

Но эта элегия вызывает еще целый ряд вопросов и недоумений. На первый взгляд астрономическая картина в элегии вполне ясна: в Каменке Пушкин смотрит на Венеру, вечернюю звезду, и вспоминает, как два-три месяца назад любовался ею в Крыму, на вечернем же небе. Однако, в то время, когда Пушкин жил в Гурзуфе, Венера была не вечернею, а утреннею звездою. Об этом сообщает сам Пушкин в «Странствиях Онегина» (XIV):

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете *утренней Киприды*,
Как вас впервой увидел я...

Так оно в то время и было: в августе—сентябре месяце 1820 г., по справке Н. Н. Кузнецова,²⁾ Венера, действительно, была утреннею звездою. На утреннем же небе Венера была еще видима и через три-четыре месяца, в пору пребывания Пушкина в Каменке.

Н. Н. Кузнецов рисует себе дело так: в Гурзуфе Пушкин наблюдал Венеру по утрам, в Каменке какую-то яркую звезду, сиявшую на вечернем небе, он принял за «знакомое светило»—Венеру. В действительности это мог быть либо Сатурн, находившийся в 1820 г. в созвездии Рыб, либо,—что вероятнее,—Юпи-

1) «Пушкин и его современники», вып. XV, стр. 31.

2) Н. Н. Кузнецов: «Вечерняя звезда в одном стихотворении Пушкина»—«Мироведение». Известия Русск. Общ. любителей мироведения, т. XII, № 1 (44). апрель 1923 г., стр. 87 90.

тер, стоявший в созвездии Водолея. В ноябре—декабре месяце обе планеты, конечно, должны были сиять вечером на западе. «Таким образом,—заключает Н. Н. Кузнецов,—Пушкин, хотя и ошибся, приняв Юпитера за Венеру, но все же проявил незаурядную наблюдательность, признав в случайно проглянувшей из-за облаков звезде планету».

Н. Н. Кузнецов недостаточно внимательно вчитался в Пушкинскую элегию: «знакомое светило» и в Крыму было перед глазами Пушкина вечером, «когда на хижины сходила ночи тень».

Значит, и в Крыму, и в Каменке Пушкин наблюдал какую-то вечернюю звезду в то время, как Венера была утренней звездой. Но какая-же звезда, кроме Венеры, может сиять на вечернем западе непрерывно в течение трех-четырех месяцев? Из неподвижных звезд—ни одна: надвигаясь день за днем на солнце, она за три-четыре месяца давно бы уже потонула в солнечном сиянии. То же самое нужно сказать и о двух планетах, упоминаемых Н. Н. Кузнецовым: Сатурн и Юпитер движутся по небу слишком медленно и не могут в течение трех-четырех месяцев отложить по зодиаку такой длинный путь, чтоб удержаться в положении вечерней звезды. Кроме Венеры, нет ни одной подходящей—ни планеты, ни звезды.

Можно бы возразить: здесь у Пушкина—поэтическая вольность, он писал о вечерней звезде, совсем не имея в виду ни хронологии, ни астрономической точности. Позволительно ли итти по следам тех пушкинцев, которые каждое поэтическое слово Пушкина принимают за точнейшую фактическую правду? Однако, как раз в данном случае такое отношение является совершенно правильным: в трех последних стихах элегии было сообщение о каком-то вполне конкретном

факте,—Пушкин не хотел опубликовывать этих трех стихов и пришел в великое негодование, когда Бестужев опубликовал элегию целиком: Пушкин боялся, как бы девушка по конкретному указанию заключительных стихов не догадалась, что речь идет о ней. В стихах же этих именно и говорится о вечерней звезде, о том, как девушка называла ее своим именем. А Венеры-то как раз в то время на вечернем небе и не было.

Что же это была за звезда? В элегии есть одна, обычно не замечаемая деталь, которая может помочь ответить на вопрос. Пушкин говорит: «я помню твой *восход*, знакомое светило...». Значит, звезда эта, во время пребывания Пушкина в Гурзуфе, по вечерам только *восходила*. Лишнее, между прочим, доказательство, что речь идет не о Венере: Венера ближе к солнцу, чем земля, и вечером, как известно, нельзя наблюдать ее восхода,—она после заката солнца загорается на западе.

Таким, образом, в окончательном виде картина получается следующая. В ноябре—декабре 1820 г., в Каменке, Пушкин высоко на западе наблюдает «вечернюю звезду», настолько яркую, что луч ее способен серебрить воды речного залива. Три-четыре месяца назад, в августе—сентябре, когда Пушкин жил в Гурзуфе, эта же звезда восходила по вечерам на востоке.

Что это за звезда? Ответ едва ли может теперь представить какую-либо трудность. Конечно—Юпитер. По яркости, он следует непосредственно за Венерой. В 1820 г. как указано выше, он находился в февральском зодиакальном созвездии Водолея, значит, в ноябре—декабре стоял вечером на западе [23 ноября заход Юпитера—около полуночи, 13 декабря—в 10 час. 31 мин. веч.,— см. вышеуказанную статью Н. Н. Куз-

нецова]. В августе—сентябре того же года Юпитер должен был находиться на противоположной солнцу стороне и вечером восходить на востоке из-за высокого хребта Аюдага.

Остается вопрос: знал ли Пушкин, что его вечерняя звезда—не Венера? Конечно, знал: в «Странствиях Онегина» он определенно говорит об «утренней Киприде». А в таком случае загадка последнего стиха элегии,— «именем своим подругам называла»,—остается неразрешенной. Разгадки нужно искать не среди названий Венеры, а среди названий Юпитера.

1925

Крепостной роман Пушкина

П. Е. Щеголев занимает, бесспорно, первое место среди современных пушкинистов. Есть пушкинисты, не менее его изучившие до мельчайших подробностей все, касающееся Пушкина и его окружения. Но нет равного Щеголеву по научной трезвости мысли, по критичности подхода к исследуемым фактам, по суровости отношения ко всякому фантазированию, по обоснованности обобщений. Если он высказывает гипотезу, то она настолько обставляется у него фактами и доказательствами, что сама становится почти научным фактом. Таково его исследование об «утаенной любви» Пушкина, такова его классическая работа о дуэли и смерти Пушкина. Нельзя было достаточно высоко оценить Щеголева особенно за самые методы его исследования, просто одним своим применением в прах побивавшие бесплодное и беспочвенное фантазирование на пушкинские темы в стиле покойного Гершензона или здравствующего Ходасевича. Вполне понятно поэтому, что вопрос, за который брался Щеголев, обыкновенно оставался после него исчерпанным и решенным, не требующим пересмотра.

Тем большее разочарование приходится испытать, читая последнее исследование П. Е. Щеголева о «крепостной любви» Пушкина («*Пушкин и мужики*», «*Новый мир*», 1927, № 10). Не узнаешь прежнего Щеголе-

ва. Крайняя методологическая неряшливость, самый откровенный импрессионизм, натянутое перетолковывание фактов в угоду создаваемой гипотезе, притягивание за волосы цитат из пушкинских стихов, самое безудержное фантазирование,—все эти приемы, так сурово обличаемые строгими работами Щеголева,—самым пышным цветом цветут в последней работе самого Щеголева.

Основой пушкинского крепостного романа, о котором повествует Щеголев, служат два известных сообщения: рассказ Пущина об его посещении Пушкина в сельце Михайловской и переписка Пушкина с кн. Вяземским о «живой грамоте».

Пущин, описывая свое посещение Пушкина, между прочим, рассказывает: «Мы вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным его положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов».

Это было 11 января 1825 г. А в начале мая 1826 г. Пушкин сконфуженно писал кн. Вяземскому в Москву «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твоё человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве». В следующем письме он спрашивал Вяземского: «Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?»

Опираясь на эти два сообщения, Щеголев пытается реконструировать трогательный роман, разыгравшийся на лоне деревенской жизни между Пушкиным и «милой и доброй крестьянской девушкой, склонившейся над пальцами». Роман этот, по мнению Щеголева, не исчерпывался одним физиологическим моментом, и его никак нельзя характеризовать, как легкое увлечение. Это была крепкая и хорошая любовь, наложившая благотворный отпечаток на всю жизнь Пушкина в Михайловской ссылке. «Молодая крестьянская девушка,— пишет Щеголев, — оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина, хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове. Создание Бориса Годунова предполагает особенные условия творчества: спокойное, удовлетворенное состояние духа, устранение мелких, раздражающих моментов и в области интимной спокойное чувство любви, находящей ответное удовлетворение... Перед нами две чашки весов. Бросьте на одну все тригорские романы с помещичьими дочками и племянницами, а на другую— вот этот крестьянский роман, это сожительство барина с крестьянкой. Боюсь, что тригорская чашка пойдет быстро вверх. Михайловский роман прочнее, здоровее, в нем больше земли».

Рассмотрим доводы, на которых Щеголев основывает такое свое трактование деревенского увлечения Пушкина.

Щеголев пишет: «Против легкого характера увлечения Пушкина говорит самая длительность связи. Начальный момент романа, по свидетельству Пушкина, падает на январь 1825 г., и только в мае следующего года Пушкин отпускает или отсылает девушку в период беременности, еще незаметной для окружающих... Итак, год с лишним тянулась связь барина с крестьянкой».

янской, и никак нельзя характеризовать ее, как легкое увлечение».

Но откуда же Щеголев знает, что в рассказе Пущина и в переписке Пушкина с Вяземским речь идет об одной и той же девушке? Это требуется еще доказать, а Щеголев уже приводит это в качестве главного доказательства своей гипотезы. Нет решительно никаких данных, говорящих за то, что это была одна и та же девушка. И, во всяком случае, совершенно неверно, что в рассказе Пущина описывается начальная стадия романа. Перечитайте еще раз рассказ Пущина: «Я тотчас заметил между швеями одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений... Я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было, я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понято без всяких слов».

В толковании Щеголева остается совершенно непонятным,—чем привлекла к себе внимание Пущина «фигурка» одной из швей? Почему привлекла внимание именно фигурка, а не лицо? Какие «заключения» делает Пущин, глядя на девушку, почему боится оскорбить Пушкина своею догадкой? Что такое было понято без всяких слов? Ясно, что девушка *была беременна*. Замужние женщины обычно уже не работали с дворовыми девушками,—и вполне естественно, что фигурка беременной девушки привлекла внимание Пущина, и вполне естественна была его догадка. И он взглядом спросил Пушкина: «Что, брат, твое, дело?» И Пушкин в ответ улыбнулся значительно: «мое». Дело происходило 11 января 1825 г. Пушкин прибыл в Михайловское 9 августа 1824 г. Максимальный срок

пять месяцев. А как раз для «легкого», «физиологического» сближения много времени не требовалось, особенно для такого мастера в любовных делах, каким был Пушкин.

При своем понимании—как представляет себе Щеголев в подробностях сцену, описываемую Пушциным? Фигурка девушки привлекла к себе внимание Пушцина—чем? Своею необычайною красотой, изяществом? Какова была «шаловливая мысль» Пушцина, которую прозрел Пушкин? Неужели такая: «надеюсь, ты такой красоты не пропускаешь своим вниманием?» И Пушкин ему в ответ: «Дурака нашел! Конечно не пропускаю!» Неужели это соответствует стилю отношений между Пушциным и Пушкиным при встрече их в Михайловском?

Так это или иначе, была-ли беременна первая девушка или нет, но у Щеголева нет решительно никаких доказательств, что в январе 1825 г. и в мае 1826 г. дело шло об одной и той же девушке. А именно длительность связи приводится Щеголевым в качестве главного доказательства серьезности чувства Пушкина.

Щеголев пишет: «В Онегине Пушкин описывает собственную деревенскую жизнь. «В четвертой песне Онегина я изобразил свою жизнь»,—признавался Пушкин Вяземскому:

Прогулки, чтение, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина..
Вот жизнь Онегина святая.

Описание это, опять-таки, говорит совершенно против Щеголева, О «белянке» сообщается просто, как об одном из аксессуаров жизни холостого барина. «Белянка черноокая», «бутылка светлого вина». Завтра другая белянка и другая бутылка...

В апреле 1826 г. И. П. Липранди был по делам службы в Петербурге и, между прочим, записывает: «Лев Сергеевич (брат поэта) сказал мне, что брат связался в деревне с кем-то и обращается с предметом—уже не стихами, а практической прозой». И. П. Липранди—свидетель о Пушкине чрезвычайно достоверный. Нет никакого основания заподозрить правдивость его сообщения. Но хронологически свидетельство это говорит как бы против гипотезы Щеголева о длительности романа Пушкина,—и Щеголев устраняет его на том основании, что оно не совпадает с его гипотезой. «Это свидетельство,—пишет он,—внушает мне некоторое недоверие по соображениям хронологическим».

Проследим дальше, как обосновывает Щеголев свою гипотезу о романе Пушкина. Он пишет: «Для кого угодно, но не для Пушкина, это увлечение могло быть легким. В поэзии Пушкина совесть говорила властным языком, и мотив раскаяния, покаяния часто звучал в его художественном творчестве. С необычной силой запечатлен этот мотив в стихотворении *Когда для смертного умолкнет шумный день*». Никак не могу согласиться, чтобы мотивы раскаяния часто звучали в творчестве Пушкина: звучат они чрезвычайно редко, а в указываемом им стихотворении и вовсе не звучат,—см. об этом выше мою заметку: «Стихи неясные мои»

«А ведь это он, Пушкин, написал патетический протест против крепостной действительности!»—воскликает Щеголев и цитирует «Деревню», написанную Пушкиным в 1819 г. Там есть, между прочим, такие строки:

Где девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея...

«И обстановка,—продолжает Щеголев,—и социальное неравенство не могли не напомнить Пушкину его же слов о помещицкой прихоти и не могли не усложнить его чувства... И по этим соображениям нельзя свести этот роман к физиологическому инстинкту, оголенному от всякой романтики».

Не напиши Пушкин шесть лет назад стихотворения «Деревня», не будь между ним и девушкой социального неравенства,—то роман, по Щеголеву, мог бы еще, повидимому, свестись к физиологии. Но эти приходящие обстоятельства усложнили чувство Пушкина и озарили его романтическим светом. Перед нами не Пушкин, а «кающийся дворянин»-семидесятник с «больною совестью», не могущий простить себе связи с девушкой «социально неравной» и надсадно спешащий навести на эту связь романтический лак.

И как можно так просто заключать от «*Dichtung*» поэта к его «*Wahrheit*»,—как будто поэт совершенно неспособен делать в жизни то, что осуждает в своей поэзии! У Пушкина, во всяком случае, это было не так, и «поэзия» его самым разительным образом не совпадала с «правдой» (см. выше мою статью «*Об автобиографичности Пушкина*»). Приведу один пример.

«История села Горюхина», по справедливому мнению критиков, «в гнетущей своей безысходностью правде служит самым грозным осуждением крепостному праву, и в этом, несомненно, заключается главный смысл и значение повести». Вспомните хотя бы приводимые в повести календарные записи барина: «4 мая снег. Тришка за грубость бит. 9. Дождь и снег. Тришка бит по погоде» и т. д.

А вот что, всего через три-четыре года после этого, было у самого Пушкина. Жил он в Петербурге в доме некоего Оливье. Домохозяин велел дворнику запереть калитку в десять часов вечера, а Пушкин требовал, чтобы до его возвращения калитка оставалась открытою. Раз Пушкин приехал поздно, нашел калитку запертою—и побил дворника. Дворник очутился между двух огней: домовладелец приказывал запереть калитку, Пушкин запрещал. «Война с дворником не прекращается,—писал Пушкин своей жене,—и вчера еще я с ним повозился. Мне его жаль, но делать нечего: я упрям и хочу переспорить весь дом». Как видим, это даже не мгновенная вспышка, в которой бы потом Пушкин жестоко раскаивался: он спокойнейшим образом пишет об избиениях, чинимых им ни в чем неповинному дворнику, нисколько не стыдясь своих действий. Это показывает, что нельзя ссылаться на художественные произведения Пушкина в доказательство его неспособности совершать в жизни осуждаемые поэтом действия.

Дальше Щеголев пишет:

«Нам необходимо заглянуть еще и в финляндскую повесть Баратынского, названную по имени героини «Эдой». Соблазненную девушку, отосланную в Болдино, Пушкин называет «моей Эдой», но что общего между Эдой и девушкой из Михайловского, какие основания были у Пушкина для сравнения?»

Так ясно, что даже странно отвечать: Эда, «отца простого дочь простая», соблазнена барином-офицером. михайловская девушка, тоже «отца простого дочь простая», соблазнена тоже барином. Но Щеголев и в том, что Пушкин называет свою «живую грамоту» Эдой, усматривает новое доказательство серьезности чувства

Пушкина к девушке и посвящает этому вопросу целую главку своего исследования.

«Эда уступила хладному искусству, ответила герою горячею любовью; но гусар ушел в поход, и Эда не вынесла разлуки: «кручина злая ее в могилу низвела». Баратынский заставляет своего героя измениться. Похоть первоначальная превращается в искреннее чувство. Он тронут был ее любовью невинной... Поэма Баратынского понравилась Пушкину необычайно. Прочел он ее в феврале 1826 г., когда плоды его собственного романа уже сказались». Ну, а раз поэма понравилась необычайно,—значит, ясно: «Аналогия несомненна: Эда и гусар, Пушкин и крестьянская девушка. От изысканных одесских романов, от аляповатых и претенциозных помещичьих дочек к простой, милой, доброй девушке».

Дальше.

«Тема обольщения невинной девушки развита в «Сцене из Фауста» с трагическим углублением»,—пишет Щеголев. (Сцена написана в 1826 г.). Ну, а это-то что же доказывает? Ведь сцена написана на гетевскую тему,—а у Гете фигурирует обольщенная невинная девушка Гретхен, обойти этого было нельзя. И в «Сцене» любовь Фауста к Гретхен изображена как раз, как легкая, физиологическая связь:

На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем..

Вот, кажется, и все доказательства, которые приводит Щеголев в обоснование своего взгляда на характер крепостного романа Пушкина. Мимоходом он развенчивает тут же няню Пушкина, знаменитую Арину Родионовну.

«Роман развивался в отсутствии отца,—пишет Щеголев, — а покровительницей романа была, *конечно* (!), няня, свет Родионовна. Она жила в таком близком общении со своим питомцем, что уж никак не могла не заметить, на кого направлены вождедеющие взоры ее питомца. Ох, эта Арина Родионовна! Сквозь обволакивающий ее образ идеалистический туман видятся иные черты. Верноподданная не за страх, а за совесть своим господам, крепостная раба, мирволящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поставившая их удовлетворение. Ни в чем не могла она отказать своему питомцу. «Любезный друг, я цалую ваши ручки с позволения вашего сто раз и желаю вам то, чего и вы желаете»,—читаем в ее письме».

Как видите, полное развенчание, и опять—какое бездоказательное, какое немотивированное! «Верноподданная раба»... Конечно, мы ценим и любим Арину Родионовну не за то, что она была Стенькой Разиным в кацавейке. Дело совсем не в этом. Но мы глубоко благодарны ей, что она любила Пушкина именно «не за страх, а за совесть», что в его безрадостной жизни она давала ему ту любовь и чисто-материнскую ласку, без которой так холодно жить человеку, и которой Пушкин никогда, с самого детства, не знал и не видел от родной матери. «Потакала барским прихотям, в закон себе ставила их удовлетворение, ни в чем не могла отказать своему питомцу». Откуда это знает Щеголев? Единственное основание—собственное его «конечно»: «покровительницей романа была, *конечно*, няня свет Родионовна». Мы не имеем данных утверждать, что Родионовна в чем-нибудь перечила Пушкину, но также не имеем решительно никаких данных с щеголевскою уверенностью признавать ее своднею в любовных делишках своего питомца. Общее уважение, ко-

торым она пользовалась в семье Пушкина, не достигается одним низкопоклонством и потаканием барским прихотям. И во всяком случае, по крайней мере, столь же вероятно, что она с осуждением,—пускай, может быть, и молчаливым,—относилась к шалостям молодого барина. Еще вина Родионовны: она пишет—«цалую ваши ручки». Боюсь, что в такого рода низкопоклонстве можно обвинить и самого Щеголева: убежден, что до революции он не раз в письмах называл разных лиц «милостивыми государями» и униженно подписывался «ваш покорный слуга».

Возвращаемся к щеголевскому роману. Установив с помощью выше разобранных доказательств характер этого романа, Щеголев приступает к заполнению его подробностями. Продолжается самое фантастическое прищипывание за волосы всевозможных фактов, которые хотя бы с самыми вопиющими натяжками можно было пристегнуть к роману.

Описывая свое посещение Пушкина, Пущин, между прочим, рассказывает: «Настало время обеда. Хлопнула пробка, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за *нее*». Незаметно полетела в потолок и другая пробка. Попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйской наливкой. Все домашние несколько развеселились».

Тост, между прочим,—за *нее*. Кто это «она»? Здесь можно разуместь либо «свободу» (ср. в послании к В. Л. Давыдову: «и за здоровье тех (*неаполитанских карбонариев*) и той (*свободы*) до дна, до капли выпивали»), либо, если искать женщину, то всего вероятнее,—графиню Воронцову: Пушкин, по сообщению Пущина, говорил ему, что приписывает удаление свое из Одессы козням графа Воронцова из *ревности*,—значит, посвятил Пущина в тайну своих отношений с Воронцовой.

Щеголев этот тост за «нее» толкует, как тост за ту дворовую девушку-швею, которая привлекла к себе внимание Пушкина. Вещь совершенно немыслимая ни в психологическом, ни в бытовом отношении. Хоть бы Щеголев обратил внимание на такую деталь: «попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйской наливкою». Пьют за *нее* шампанское, а самой *ей* наливают наливку!

Тост совершенно невозможный, если мы реально представим себе Пушкина и крепостную девушку-швею за пяльцами. Но для Щеголева отношения Пушкина к этой «милой и доброй девушке» представляются прямо каким-то морганатическим браком, серьезною и крепкою связью, в которой Пушкин познал все прелести счастливой брачной жизни. А тогда и громогласный тост за «нее» становится совершенно понятным. (Непонятно только, как при таком открытом чествовании «ее» отец и семья девушки, по наблюдению Щеголева, уже при отъезде беременной девушки в Москву еще ничего не знали об ее грехе.)

Широкими мазками Щеголев продолжает набрасывать картину сочиненной им семейной идиллии.

«Длинные зимние вечера,—рассказывает он,—Пушкин коротал с няней. Она рассказывала ему сказки. Так и кажется (вот для этого предположения у меня нет данных, но уж очень оно напрашивается!), так и кажется, что рядом тут же сидит и дочка приказчика Михайлы, которую Пушкин сразу отличил среди крепостных швей. Только при покровительстве няни (*да почему же только!*) могла длиться связь Пушкина с девушкой».

В феврале-марте 1825 г. Пушкин писал брату Льву про михайловскую экономку: «У меня произошла перемена министерства: Розу Григорьевну я принужден

был выгнать за непристойное поведение и слова, которых я не должен был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне щеты... Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т. е. несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления».

Ну, уж это-то событие, казалось бы, даже при самом сильном напряжении фантазии никак невозможно увязать с романом Пушкина. Оказывается,—наоборот: связь совершенно ясна: „*конечно* (!),—замечает Щеголев,—воровство Розы играло последнюю роль, а главное,—слова, которые Пушкин не должен вынести, и обида няне. Ушла Роза, которая могла быть свидетельницей романа. Остались в доме сам барин, да няня, да девушка“.

И идиллия пошла разворачиваться во-всю.

„Одна мелочь из михайловской жизни Пушкина,—замечает Щеголев.—Если когда-либо Пушкин был „народником“, так это в Михайловском. Приводится свидетельство секретного агента Бошняка, что на святогорской ярмарке Пушкин был „в рубашке, подпоясан розовою лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железной тростью в руке“, что и еще иногда видали Пушкина в русской рубашке. „Вот каким народолюбием заразился Пушкин в Михайловском,—продолжает Щеголев.—Дворянам-помещикам не нравился наряд Пушкина. Наряд шокировал их, но крестьянской девице, должно быть, нравился, и барин-крестьянин овладел ее любовным вниманием“.

Во-первых, Пушкин носил свой—довольно-таки оперный—„русский“ костюм очень редко и как раз не дома, а появился в нем раз-два на святогорской ярмарке. Алексей Вульф говорил М. И. Семевскому: „Рассказы-

вают, будто, живя в деревне, он ходил все в русском платье. Совершеннейший вздор: Пушкин не изменял обыкновенному светскому костюму. Всего только раз во все пребывание в деревне Пушкин вышел на святогорскую ярмарку в русской красной рубахе (М. И. Семевский. „Поездка в Тригорское“ „Спб. Ведомости“, 1866, № 139). Это—во-первых. А во-вторых, факт давно известный и твердо установленный: деревенских девиц всегда больше прельщает как раз городской костюм кавалеров.

Влияние нечаянной супруги Пушкина на его жизнь и творчество было огромно и плодотворно. Мы уже слышали: „Оживленная лучом вдохновения и славы, молодая крестьянская девушка, с которой Пушкин жил в 1825 г., оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина, хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове“. Но и этого мало. Влияние ее было еще глубже, оно совершенно переродило угнетенного и томящегося в своей ссылке Пушкина. „В это время,—пишет Щеголев,—оживляется переписка Пушкина, и тон ее меняется. Правда, попадают еще редкие напоминания о скуке, *больше, так сказать, по обязанности ссыльного*. Но они оттесняются на задний план энергичными и живыми выражениями чувств. Какой-то новый прилив уверенной бодрости!“

Непонятно, как можно так исказить истину в угоду предвзятой своей мысли. „Спокойная простота трагедии о Борисе“... Да, спокойная простота. Но спокойная простота того или другого пушкинского произведения отнюдь не свидетельствует, что и в душе поэта во время написания этого произведения было просто и спокойно. У Пушкина это было чрезвычайно сложно. Самого величавого спокойствия и простоты исполнены и предсмертные произведения Пушкина, когда сам он

захлебывался бешенством и злобой. Про время михайловской ссылки Пушкина Н. М. Смирнов, хорошо знавший его, замечает: „в эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных песен, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния“ („Русск. архив“, 1882. I, 230).

Что же, — скука, душевная тоска и уныние, или — прилив уверенной бодрости с напоминаниями о скуке больше, так сказать, по обязанности ссылке? Конечно, первое. Каким реактивом пользуется Щеголев, чтоб отличать искреннее изъяснение скуки от выражения скуки по обязанности, — неизвестно. Но жалобы на скуку продолжают у Пушкина упорно и настойчиво. „Мне довольно скучно“, — пишет он брату Льву в феврале 1825 г., — значит, в самый разгар своего медового месяца. В апреле — Вяземскому: „у меня хандра и нет ни одной мысли в голове“. В мае Рылееву „мне скучно в деревне“. В мае-июне Жуковскому: „Михайловское душно для меня“. В июле Дельвигу: „Будь щастлив, хоть это чертовски мудрено“. В августе Плетневу: „у нас очень дождик шумит, ветер шумит, лес шумит, шумно, а скучно!“ В сентябре Вяземскому: „извини эту прозаическую хандру: мочи нет, сердит“ и т. д. Как видите, буквально из месяца в месяц.

Но не одни только эти непрерывные жалобы свидетельствуют о том, как задыхался и томился Пушкин в михайловской ссылке. Об этом свидетельствует и та совершенно исключительная энергия, которую проявлял Пушкин, изыскивая всякие способы вырваться из ссылки. Он замышляет бегство за границу, настойчиво и страстно работает над осуществлением своего намерения и отказывается от него только тогда, когда негодливость одних друзей и неумелость других за-

ставляет его совершенно опустить руки. Николай I сменяет на престоле Александра, и уже в начале января 1825 г. Пушкин поручает Жуковскому просить нового царя о дозволении ему вернуться в Петербург; все время понукает друзей, подает прошение на высочайшее имя... И это все — „больше, так сказать, по обязанности ссыльного“?!

Семь коротких футов в сумме дают длинную сажень. Но семь плохих доказательств не дают в сумме хорошего доказательства. А все доказательства Щеголева — одно хуже и слабее другого. После всего его исследования неоспоримыми остаются только два исходных факта, которые были известны нам и раньше: что в январе 1826 г. и в апреле-мае 1826 г. были налицо обстоятельства, свидетельствовавшие о связи Пушкина в михайловской ссылке с крепостными девушками, — может быть, с одною, а может быть, и не с одною. Это было, — это и осталось. Найденное Щеголевым письмо убедительно доказывает также, что оно писано тою девушкою, которая была отправлена в Болдино весною 1826 г., что, значит, домыслы Ходасевича о том, что девушка утопилась и тем дала Пушкину сюжет для „Русалки“ — неверны. Но все, что пишет Щеголев о характере любви Пушкина к этой девушке, все это — совершенно бесплодное и беспочвенное фантазирование в духе того же Ходасевича, плохая беллетристика, даже лишенная правдоподобия хорошей художественной выдумки.

В своем исследовании Щеголев рассматривает кстати и другие сердечные увлечения Пушкина поры его деревенской ссылки. Между прочим, он касается и моей статьи об отношении Пушкина к тригорским барышням (см. выше: „Пушкин и Евпраксия Вульф“). „В последнее время, — пишет он, — любовный быт

пушкинской эпохи нашел строгого судью в Вересаеве, судью, но не толкователя. С наивностью неуместной для судьи, положился Вересаев на свидетельские показания Алексея Вульфа“. Никакими судами и осуждениями я не занимался, я стремился только совершенно объективно, не поддаваясь моей горячей любви к Пушкину, рассмотреть те данные, которые дошли до нас об отношении его к женщине вообще и к тригорским девушкам в частности. Все эти данные,— и письма самого Пушкина, и письма Евпраксии Вревской, и воспоминания Павла Вяземского, и письма Керн и Анны Вульф к Алексею Вульфу,—свидетельствуют, что Пушкин нередко относился к женщинам с исключительным цинизмом, что этому же отношению он обучал своих молодых друзей, и что именно такой характер, по всей видимости, носили и его отношения к тригорскому девичьему миру. Неожиданное и яркое подтверждение этим данным мы находим в не так давно найденном дневнике Вульфа. В записках Вульфа Пушкин является циником-Мефистофелем, учителем Вульфа в любовных делах, проводником чисто ловеласовских взглядов на женщину. Выдумывать Вульфу не было решительно никаких оснований. Дневник носит чрезвычайно интимный характер, писал его Вульф только для себя, у него, конечно, и в мыслях не могло быть, что дневник его когда-нибудь будет опубликован. Какой же был для него смысл взводит в этом дневнике на Пушкина небылицы? Да и все, что он сообщает, подтверждается, как уже сказано, целым рядом других сообщений и письмами самого Пушкина,—особенно письмами его к тому же Вульфу.

Щеголеву не нравится такой взгляд на Пушкина. Опровергать меня он не пытается, а прибегает к обычному своему приему, с которым мы уже достаточно

ознакомились в его статье: „покровительницей романа была, конечно, няня“, „конечно, воровство Розы играло последнюю роль“, „напоминания о скуке—больше, так сказать, по обязанности ссыльного“. Так и тут. „С наивностью, неуместной для судьи, положился Вересаев на свидетельские показания Вульфа“, — и дело сделано, и достоверность показаний дневника Вульфа опровергнута.

Нельзя не отметить, что вообще в изложении любовных романов Пушкина Щеголев не обнаруживает большой психологической проницательности и разнообразия. Между тем ни в чем так ярко не проявляется вся сложность и неожиданность пушкинской души, как в его отношениях к женщинам. Мало есть во всемирной литературе романов, где бы любовная жизнь героя представляла такой размах и такой сложный психологический рисунок, как любовная жизнь Пушкина. Как будто несколько совсем разных душ жило в душе этого вечно изменяющегося Протея.

Роман Пушкина с Анной Петровною Керн Щеголев описывает так: „Летом 1825 года в женском цветнике Тригорского появилась прелестная двадцатипятилетняя красавица А. П. Керн, взволновавшая чувственность Пушкина до пределов. И когда она находилась от него на расстоянии 400 верст, он в воображении переживал страсть. При одной мысли о будущей встрече с ней, у него билось сердце, темнело в глазах, и истома овладевала им. Казалось бы, такая страсть в действительности должна бы иметь неизбежное увенчание, но Пушкин, вел себя как 14-летний мальчик: был робок, застенчив и, — странная вещь, непонятная вещь! — не довел свою любовную схватку до увенчания; а ведь как легко, без тоски, без думы роковой, овладел молодой Вульф своею прелестною кузиною, а ведь к Анне

Петровне Керн подходил бы эпитет, данный Н. М. Языковым своей любви: *res publica*! Скажем прямо. Припадок влюбленности, пережитый Пушкиным во время пребывания Керн в Тригорском, не нашел физиологического разрешения и дал поразительный эффект только в творчестве (*стихотворение: „Я помню чудное мгновение“*). И только года через три, когда праздник встречи, праздник пробуждения души и упоительного биения сердца стал далекими буднями, и гению чистой красоты был дан эпитет вавилонской блудницы, инстинкт вступил в свои права, и где-то как-то вышел случай, и Пушкин на момент овладел Анной Петровной... с божьей помощью“.

Прежде всего, Анна Петровна Керн вовсе не была „*res publica*“, которую всякий мог овладеть, стоило ему только пожелать. Она любила многих, но каждый раз в любовь свою уходила всею душою, страстно и нераздельно. В дневнике своем уже в 1830 г. Алексей Вульф, когда-то счастливый обладатель Анны Петровны, пишет по поводу очередного ее увлечения: „Анна Петровна, вдохновленная своею страстью, велит мне благоговеть перед святынею любви!.. Сердце человеческое не стареется, оно всегда готово обманываться... Страсть ее чрезвычайно замечательна не столько потому, что она уже не в летах пламенных восторгов, сколько по многолетней ее опытности и числу предметов ее любви. Пятнадцать лет почти непрерывных несчастий, унижения, потеря всего, чем в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце или воображение, — по сию пору оно как бы в первый раз вспыхнуло“ (*„Пушкин и его современники“*, XXI—XXII, 134, 136). Так не пишут об „общественной собственности“, всем доступной „вавилонской блуднице“.

Шеголеву дело рисуется так: Керн взволновала чувственность Пушкина, но до физиологического разрешения Пушкин их отношений не довел: „праздник встречи, праздник пробуждения души и упоительного биения сердца“ подавил в Пушкине чувственные инстинкты, началась „тоска“, началась „дума роковая“... И только через три года, когда очарование отлетело, Пушкин походя овладел красавицей.

Совершенно фантастическая и невероятная картина. Сам же Щеголев приводит возбужденно-страстные, сумасшедшие письма Пушкина к Анне Петровне: „Как можно быть вашим мужем? Я не могу представить себе этого, как не могу представить рая...“ „Теперь ночь, я чувствую себя у ног ваших, сжимаю их, чувствую прикосновение ваших колен,— всю кровь мою отдал бы я за минуту действительности!“ Отчего же Пушкин не овладел красавицей? Вовсе не потому, что поэтические чувства подавили в нем инстинкт и страсть (как это похоже на Пушкина!),—а просто потому, что Анна Петровна не захотела отозваться на его страсть. Она в то время была увлечена своим двоюродным братом Алексеем Вульфom. Вульф, повидимому, имел неотразимое влияние на женские сердца, и он оказался счастливым соперником Пушкина. Керн восхищалась Пушкиным, как поэтом, но, как женщина, тянулась к Вульфу. А так как она вовсе не была „res publica“, то увлечение Вульфom, конечно, делало для нее совершенно невозможным ответный отклик на домогательства Пушкина.

1928.

P. S.

Статья эта была помещена в журнале „Печать и революция“ (1928, кн. 3). П. Е. Щеголев ответил не нее злобной статьей, полной инсинуаций и личных выпадов, до ответа на которые не унижится ни один сколько-нибудь брезгливый человек. (См. „Печать и революция“, 1928, кн. 5. „На всякого мудреца...“ Статья почти целиком введена автором и в его книгу: „Пушкин и мужики“. Изд. „Федерации“. 1928). Для характеристики полемического стиля П. Е. Щеголева может служить такая, например, выдержка:

Стоит просмаковать густо глубокомысленный комментарий Вересаева. „Тост, между прочим, за „нее“. Кто это она?“ Просто и ясно, но Вересаев погружается в задумчивость. „Здесь можно разуместь либо „свободу“... Какое парение в высоту!... Вересаев чувствует, что парение излишне, не помогает. „...либо, если искать женщину...“ Так-то ближе к делу. Вересаев выходит из задумчивости, ищет женщину... готов искать, где угодно, лишь бы не за стеной“. ...то всего вероятнее — графиню Воронцову...“ Придумал! Но почему? Почему не Ризнич, не Раевская? Двоеточие готовит объяснение. „Пушкин, по сообщению Пушина, говорил ему, что приписывает удаление свое из Одессы козням графа Воронцова из ревности...“ Отсюда все же далеко до тоста „за нее“, — за Воронцову. Нужен вольт, и Вересаев его делает... „...значит, посвятил Пушина в тайну своих отношений к Воронцовой... Новый дар Вересаева пушкиноведению! Откуда же значит? (Печать и революция, 1928, кн. 5, стр. 102).

Существеннейшие мои возражения на выдуманный им крепостной роман Пушкина Щеголев оставляет неопровергнутыми. Долго он останавливается на вопросе, была ли беременна виденная Пушиным крепостная девушка, — вопросе, решение которого в ту или другую

сторону ничего в деле не меняет. Подробнейшим образом доказывает, что имел основание „по соображениям хронологическим“ заподозрить приводимые Липранди слова Льва Пушкина, что брат его „связался в деревне с кем-то и обращается с предметом — уже не стихами, а практической прозой“. Соображения такие: Бенкендорф еще не был, как рассказывает Липранди, шефом жандармов, и Лев Пушкин не находился на военной службе в то время, когда Липранди видел Пушкиных в Петербурге. Эти две хронологические погрешности никак не могут дать нам права заподозривать и все остальные сообщения Липранди,— свидетеля в общем очень достоверного. Здесь же такой чрезмерный критицизм совсем уже не у места: в апреле месяце Липранди слышит от Льва Пушкина, что брат его „связался с кем-то в деревне“—в апреле-мае того же 1826 года Пушкин пишет письмо кн. Вяземскому о „чреватой грамоте“.

Поражает вообще чрезвычайная легковесность возражений П. Е. Щеголева. Читатель мог уже ее наблюдать в вышеприведенной выдержке из его статьи. Пушкин приписывал свое удаление из Одессы козням гр. Воронцова и з ревности. Уж понятно, не к г-же Ризнич и не к Раевской мог ревновать Воронцов Пушкина, а к своей жене. Раз же Пушкин сообщил Пущину о том, что Воронцов ревновал его, то, вероятно, сообщил, и к кому ревновал.

Или вот еще пример. Я указываю в своей статье, как бездоказательно и немотивированно „развенчивает“ Щеголев знаменитую няню Пушкина Арину Радионовну. Привожу, между прочим, слова Щеголева: „покровительницей романа была, *конечно*, няня, свет-Радионовна“—и выражаю удивление, откуда это следует. Щеголев с азартом возражает: „Как бы Вересаев ни уди-

влялся, конечно, няня покровительствовала роману *конечно*, потому что она была одна при Пушкине, каждый час слышал Пушкин за стеной ее тяжелые шаги и кропотливый дозор, в узкой ограниченности барского дома и усадьбы от нее не укрылось бы ни одно вождение питомца“. Но ведь все это доказывает только то, что няня *не могла не знать* о связи Пушкина. А П. Е. Щеголев вполне убежден, что доказал, будто няня *покровительствовала* связи Пушкина.

Щеголевым найдено письмо, писаное в 1833 году Пушкину из Болдина и подписанное: „известная вам“. Щеголев убедительно доказывает, что письмо это писано тою-же Ольгою Калашниковою, которую Пушкин беременною отправил в Болдино в 1826 году. Дальше по поводу этого письма он пишет: „Прошло семь лет, и Пушкин не забыл предмета своего крепостного романа, он пишет ей... Отношения, нашедшие отражение в письме, представляются проникнутыми какой-то крепкой интимностью и простотой. Она с доверием прибегает к нему за поддержкой, не скрывает от него своих горестей... Пишет человек, относящийся к адресату с чувством дружеского уважения и приязни, не остающимся безответными. Эти чувства являются проекцией тех, что связывали их семь лет тому назад. Исключается возможность расценки их связи, как чисто физиологической, оголенной от романтики, лишенной длительности“.

Когда читаешь само это письмо, то решительно недоумеваешь,— где смог Щеголев усмотреть в нем все те трогательные чувства, о которых он пишет. Письмо производит крайне отталкивающее впечатление. Все оно полно всяческих просьб,—видимо, автор во-всю старается использовать свое право на некоторое внимание к себе Пушкина. „Покорнейше вас прошу извинить меня, что я вас беспокоила насчет денег для

выкупки моего мужа крестьян, то оные не стоят, чтобы их выкупить (!)... Стараюсь все к пользе нашей, но муж не чувствует моих благодеяний, каких я ему ни делаю... У меня вся надежда на вас, что вы не оставите меня своею милостью в бедном положении и горестной жизни... На батюшку все Сергей Львович (отец Пушкина) поминутно пишет неудовольствие и строгие приказы, то прошу вас защитить своею милостию его от сих наказаний... О себе вам скажу, что я в обременении и время приходит к разрешению, то осмелюсь вас просить, нельзя-ли быть восприемником, если вашей милости будет непротивно, хотя не лично, но имя ваше вспомнить на крещении“.

Сама еще недавно крепостная,— как скоро эта женщина усвоила барственный взгляд на лодырей-мужиков: „оны не стоят, чтобы их выкупить“. Из исследования самого-же Щеголева мы знаем, что за человек был отец Ольги, Михайло Калашников, управлявший селом Болдино: форменный грабитель, разорявший мужиков, на которого они не уставали жаловаться. За него-то и ходатайствует его дочь перед Пушкиным. „Вот из тридцатых годов голос милой, доброй девушки, оживленной лучом вдохновения и славы Пушкина“, умиленно замечает Щеголев по поводу этого письма.

То обстоятельство, что за семь лет Пушкин не забыл Ольги, поддерживает с нею переписку, помогает ей деньгами, не может служить доказательством, что связь Пушкина с нею была чем-то большим, чем голая физиология. Ведь женщина эта была *матерью ребенка Пушкина*, возможно, и сам ребенок был жив,— как можно упускать из виду такое существенное обстоятельство! Каков бы ни был характер их отношений в былые времена, обстоятельство это, конечно, не могло не отразиться на их взаимных отношениях.

Попрежнему недоказанными, попрежнему висящими в воздухе остаются все существеннейшие положения, на которых строит Щеголев свой роман. Не доказана длительность союза с Ольгой Калашниковой; не доказано, что отношения их носили тот углубленно-близкий характер, который усматривает в них Щеголев; не доказано, что в душе Пушкина под влиянием союза с этой девушкой наступило какое-то умиротворение; не доказано, что непрерывные жалобы Пушкина на скуку михайловского житья были неискренни и делались им „больше, так сказать, по обязанности ссыльного“. Словом, не доказано ничего. Мы знаем только то, что во время михайловской ссылки у Пушкина были связи с крепостными девушками, — может быть, с одною, может быть, с двумя,—что одну беременную от него девушку он отправил в Болдино, впоследствии был с нею в переписке и оказывал ей покровительство. А все остальное—плохая, не опирающаяся на факты выдумка Щеголева.

Я ждал, между прочим, что Щеголев попытается обосновать свое утверждение, будто наивно полагаться на свидетельские показания Вульфа насчет цинизма Пушкина в отношении к женщинам. Я указывал, что дневник свой Вульф писал для себя и, конечно, никак не думал, что он будет когда-нибудь опубликован; значит, никакого смысла ему не было выдумывать на Пушкина в своем дневнике. Далее: длиннейший ряд свидетельств, исходящих от других лиц, вполне подтверждает впечатление, выносимое из чтения дневника Вульфа, о большом цинизме Пушкина. Я уже несколько раз в этой книге приводил соответственные свидетельства, и тут ограничусь только их перечислением: отзывы о Пушкине участников завтрака у Погодина в 1829 году (С. Аксакова, Погодина), отзывы Анны Керн и Анны Вульф

в письмах к Алексею Вульфу, рассказ Павла Вяземского, письмо баронессы Вревской о своей сестренке Маше 10 сентября 1836 года. На все это Щеголев даже не пытается возражать, он рассчитывает, очевидно, исключительно на тяжелую массу своего авторитета, как пушкиниста. Вот все, что он имеет возразить: „Дневник Вульфа ошеломил Вересаева раз навсегда. И опять повторяю, что без всякой критики положился Вересаев при разборе дела по обвинению Пушкина в цинизме с женщинами на такого свидетеля, как Вульф. Свидетель неблагонадежный, и для судьи, выясняющего истину, наивность неуместна. Опять повторяю свое утверждение“. Чем без конца „опять повторять“, лучше было бы подкрепить свое утверждение какими-нибудь доказательствами.

В заключение отмечу один курьез. Я возражаю на неправильное, по моему мнению, отношение Щеголева к няне Пушкина. Щеголев по этому поводу замечает: „Ужасно обиделся Вересаев на меня за няню Арину Родионовну“. Не соглашаюсь со взглядом Щеголева на г-жу Керн. Щеголев: „Вересаев из-за г-жи Керн обиделся на меня. Из его слов я так и не понял, почему“. Нахожу, что никаких у Щеголева не было данных изображать связь Пушкина с Ольгой Калашниковой, как глубокий, интимный, чуть не брачный союз. Щеголев на это: „Вересаеву противна попытка раздвинуть рамки сближения Пушкина и крестьянки за пределы физиологии“. Статью свою Щеголев заканчивает так: „не явилось-ли психологическим и методологическим толчком к критическим заметкам Вересаева мое замечание о наивности, с которою он положился на показания Вульфа?“

Ну, и психология!

Отвечу на все это П. Е. Щеголеву: многочисленные обиды, которые мне пришлось претерпеть от него и за

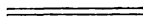
няню Арину Родионовну, и за Анну Петровну Керн, и за Пушкина, унизившегося до хорошей любви к крестьянке, и за Вересаева,— все обиды эти нисколько не мешают мне признать, что, напр., работа Щеголева об „утаенной любви“ Пушкина — прекрасная работа, что исследование его о дуэли и смерти Пушкина — исследование образцовое. Догадки, высказанные Щеголевым в третьем издании последней книги о письме Пушкина к Канкрину от 4 ноября, о роли императора Николая во всей этой истории — догадки блестящие, озаряющие новым светом и делающие понятными ряд дотоле неясных фактов. И эти догадки носят вполне научный характер, и никто против них возражать не будет. Догадки-же, разведенные Щеголевым вокруг найденного им письма, не стоят ломаного гроша и не имеют решительно никакой ни научной, ни художественной ценности.

Труд Щеголева в той его части, которая касается романа Пушкина с крепостною девушкою, встретил в печати довольно единодушное осуждение. Чем придти в бешенство от неблагоприятной критики, гораздо было бы лучше,—и для самого П. Е. Щеголева выгоднее,—если бы он честно сознался, что немножко „порезвился“, и вычеркнул бы из списка своих научных трудов сочиненную им плохую повесть о любви Пушкина к крепостной своей девушке.

1929.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие	5
К психологии пушкинского творчества	7
Об автобиографичности Пушкина	31
Пушкин и Евпраксия Вульф	80
Княгиня Нина	97
Пушкин и польза искусства	103
„Стихи неясные мои“	123
В двух планах	173
Таврическая звезда	138
Крепостной роман Пушкина	179



Издательское Товарищество „НЕДРА“

РЕДАКЦИЯ и ПРАВЛЕНИЕ:

МОСКВА, 12. Старая площ., 10. Помещ. 3—16. Т. 5-82-18.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В. В. ВЕРЕСАЕВА

В 12-ти ТОМАХ

СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ:

- ТОМ I. **Автобиографическая справка.** Загадка.— Порыв.— Товарищи.— На мертвой дороге.— Прекрасная Елена.— **Без дороги.**— **Поветрие.**— На эстраде. **Портрет 1893 г.** Ц. 1 р. 50 к.
- ТОМ II. **Записки врача.**—По поводу «Записок врача» Ц. 1 р. 90 к
- ТОМ III. **Два конца.**— В степи.— Ванька.— К спеху.— За права.— В сухом тумане.— Исправилась.— Об одном доме.— Лизар. Ц. 1 р. 90 к.
- ТОМ IV. **На повороте.**— Звезда.— Мать.— Ребята.— Перед завесою.— Встреча.— Паутина.— Проездом.— В путях.— Навысоте. Ц. 1 р. 90 к.
- ТОМ V. **На японской войне. Портрет 1905 г.** Ц. 2 р. 25 к.
- ТОМ VI. **Рассказы о японской войне.**— Когда невероятное стало вероятным.— **К жизни.** Ц. 1 р. 85 к.
- ТОМ VII. **Живая жизнь** (часть первая: О Достоевском и Толстом). Ц. 1 р. 80 к.
- ТОМ VIII. **Живая жизнь** (часть вторая: Апполон и Дионис — о Ницше). **Художник жизни** (о Льве Толстом).— Из литературы о Толстом.— Что нужно для того, чтобы быть писателем.— Об обрядах старых и новых. Ц. 2 р.
- ТОМ IX. **В тупике** (роман) **Портрет 1928 г.** Ц. 1 р. 80 к.
- ТОМ X. **Эллинские поэты** (переводы размерами подлинников): Гесиод.— Работы и дни. Гесиод.— О происхождении богов (теогония).— Гомеровы гимны. Архилох.— Сафо.— Алкей.— Алкман.— Стесихор.— Ивик.— Мимнерм.— Феогнид. Ц. 2 р. 50 к.
- ТОМ XI. **В юные годы** (воспоминания) **Портрет 1878 г.** Ц. 1 р. 75 к.
- ТОМ XII. **Исанка** и др. рассказы. Ц. 1 р. 90 к.

Издательское Товарищество „НЕДРА“

РЕДАКЦИЯ и ПРАВЛЕНИЕ:

МОСКВА, 12. Старая площ., 10. Помещ. 3—16. Т. 5-82-18.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

А. П. БИБИКА

В 6-ти ТОМАХ

СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ:

ТОМ 1. К широкой дороге, роман. Ц. 2 р. 75 к.

ТОМ 2. На черной полосе, роман. Ц. 2 р. 25 к.

ТОМ 3. Старый токарь, рассказы. Ц. 1 р. 75 к.

ТОМ 4. Жесткая учеба, рассказы и пьесы. Ц. 1 р. 70 к.

ТОМ 5. Новая Бавария, рассказы и пьесы. Ц. 2 р. 15 к.

ТОМ 6. Климчук, рассказы и пьесы. Ц. 1 р. 95 к.